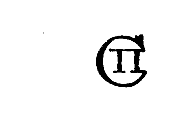


Виктор Некрасов

Первое знакомство

ВИКТОР НЕКРАСОВ



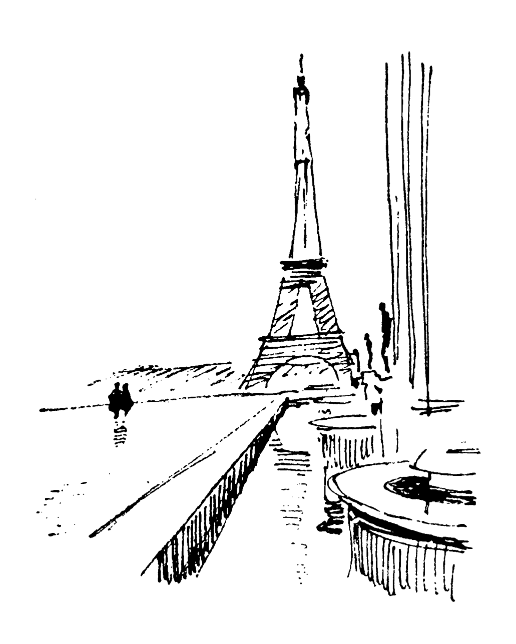
ВИКТОР НЕКРАСОВ

Первое знакомство

ИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ
ВПЕЧАТЛЕНИЙ

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА · 1960

Рисунки, фотографии и оформление автора



В одно прекрасное солнечное утро, в последних числах апреля 1957 года, трое полицейских, несших службу на набережной Сены, неподалеку от дворца Шайо, обратили внимание на подозрительного субъекта, который, прохаживаясь вдоль устоев моста Иена́, время от времени приседал на корточки и что-то фотографировал.

Полицейские окликнули его. Он не расслышал (или сделал вид, что не слышит), застегнул футляр

фотоаппарата и быстро, через одну ступеньку, взбежал вверх по каменной лестнице.

Старший из полицейских сделал знак своим товарищам и устремился за ним. Только у входа на мост удалось задержать незнакомца.

Последовал диалог:

— Почему вы не откликаетесь, когда вас зовут?

— Как?

Полицейский повторил свой вопрос.

— Я не расслышал,— ответил незнакомец на плохом французском языке.

— Но я достаточно громко крикнул.

— Я не расслышал,— повторил незнакомец.

— Вы иностранец?

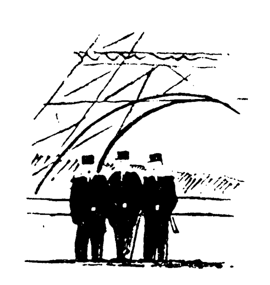
— Да.

— Ваш документ.

Незнакомец полез в боковой карман. К этому времени подоспели двое других полицейских. Начало не предвещало ничего хорошего. В руках полицейских болтались дубинки, взгляд их был строг и неумолим. Прохожие стали оборачиваться.

Но, увы, любителей поглазеть на уличные происшествия вскоре постигло разочарование. Подозрительному субъекту не скрутили за спину руки, не надели на них наручников, не отвезли его в черной машине в полицию, в вечерних газетах не появилось ни одной заметки о поимке шпиона.

Все кончилось идиллией. Трое полицейских, расправив плечи, выстроились в ряд, а иностранец, отойдя



на несколько шагов, запечатлел их на пленке своей «экзакты».

В тот же вечер иностранец был уже в Москве, а еще через несколько дней показывал друзьям и знакомым свеженапечатанную фотографию трех парижских «ажанов» на фоне Эйфелевой башни.

Вся эта столь многообещающе начавшаяся история произошла со мной весной пятьдесят седьмого года в Париже, за два часа до вылета самолета на Прагу,— иными словами, как раз в тот момент, когда меньше всего хочется быть задержанным полицией. История, как уже знает читатель, закончилась весьма мирно, но начать свой рассказ я решил именно с нее. Во-первых, чего греха таить, хочется сразу же заинтересовать читателя, столкнув его с полицейскими, да еще парижскими, да еще кого-то задерживающими; во-вторых, очень уж не хочется начинать с традиционного самолета, отрывающегося от взлетной дорожки Внуковского аэродрома; и, в-третьих, наконец, потому, что столь миролюбивым окончанием этого происшествия я обязан в первую очередь маленькой книжечке с золотым гербом на обложке.

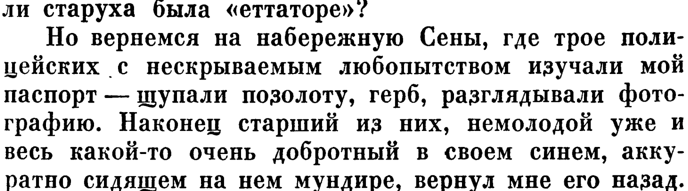
Книжечка эта, тоненькая и, кстати, вовсе не красная, а синяя, действительно обладала какой-то магической силой. (И хотя об этом писалось и говорилось бесчисленное количество раз, я совершенно сознательно иду на риск быть обвиненным в повторении

уже известных истин.) В Италии она открывала нам двери закрытых музеев, раза в два убыстряла и без того быстрое обслуживание в тратториях, рождала улыбки на обычно хмурых лицах привратниц и швейцаров — самой, пожалуй, неприветливой и недоверчивой категории людей, с которыми нам приходилось встречаться.

И только однажды (объективности ради надо и об этом сказать) в маленьком, прилепившемся среди скал домике каприйского извозчика Винченцо Вердолива паспорт мой потерял свою силу. Впрочем, как потом оказалось, дело было не в нем, а во мне самом. Я не понравился хозяйке дома. С первой же минуты она как-то очень подозрительно стала присматриваться ко мне. Когда же я, разместив все семейство (отца, сына, дочь, зятя, невестку и многочисленное черномазое их потомство) на ступеньках крыльца, приготовил свой аппарат и пригласил хозяйку занять свое место в центре группы, она наотрез отказалась. И вот тут-то даже торжественно вытащенный из кармана паспорт не возымел своего обычного действия. «Нет и нет... Ни за что...»

Только потом уже, прощаясь, милый, старый, словоохотливый Винченцо, смущаясь и не глядя в глаза, раскрыл мне тайну. Жена приняла меня за «еттаторе». Я понял: тут ничего уже не поделаешь. «Еттаторе» — это человек с дурным глазом, человек, приносящий несчастье, с ним ни при каких обстоятельствах нельзя иметь никакого дела. И тут же мне было сообщено, что

при встрече с «еттаторе» — это я должен обязательно иметь в виду — надо показать ему пальцами «рожки» — очень, мол, помогает от сглаза.



Как потом выяснилось, супруга нашего милого Винченцо, отказавшись фотографироваться, ничего не потеряла: аппарат мой в тот день испортился, и все тридцать шесть снимков я снял на один кадр. Уж не сама ли старуха была «еттаторе»?

Но вернемся на набережную Сены, где трое полицейских с нескрываемым любопытством изучали мой паспорт — щупали позолоту, герб, разглядывали фотографию. Наконец старший из них, немолодой уже и весь какой-то очень добротный в своем синем, аккуратно сидящем на нем мундире, вернул мне его назад.

— Красивый,— любезно сказал он и одновременно профессиональным взглядом окинул меня с ног до головы.— Из Москвы?

— Нет, из Киева.

— Из Киева? О! Красивый, говорят, город.

— Красивый.

— Красивее Парижа?

— Ну, как вам сказать... Я слишком мало пробыл в Париже. Всего лишь сутки.

— Сутки? Это никуда не годится. Париж — и сутки! Да в Париже...

Лед был сломан. Вежливо сдержанных полицейских сменили веселые, словоохотливые, любезные парижане.

— Чем же вы занимаетесь в Киеве?
— Пишу.
— Что?
— Разное.
— Вы писатель?
— Писатель.
— И пишете на русском языке?
— На русском.— И тут же я непроизвольно похвастался, что моя повесть совсем недавно переведена на французский язык.

Все трое вытащили записные книжки и убедительнейшим образом заверили, что обязательно найдут и прочтут ее.

Вот уж никогда не приходило мне в голову, что написанное мною будет читать парижский полицейский. Придет домой, снимет свою пелеринку и, растянувшись на диване, начнет листать книгу о судьбе вернувшегося с фронта, тобой придуманного героя. Забавно...

К тому же полицейский, приятно улыбнувшись, вдруг сказал:

— Русская литература... О-о! Толстой, Достоевский...

Я взглянул на его круглое, в общем довольно интеллигентное лицо.

— Вы читали?
— А как же... И в кино смотрел. Сейчас на всех экранах идет «Война и мир». Превосходный фильм!

Тут я вспомнил, что Жерар Филипп знаком пари-

жанам не только по Фанфан-Тюльпану и Жюльену Сорелю, но и по князю Мышкину из «Идиота», что знаменитая Мария Шелл — об этом писали сейчас все журналы и газеты — снимается в «Братьях Карамазовых», и, чтоб не разочаровываться в дальнейшем, поспешил переменить тему.

— Вы курите? — Я вытащил из кармана пачку «Беломора», припасенную специально для таких случаев.

Три осторожно вынутые папиросы перекочевали в боковые карманы темно-синих мундиров.

— Это на вечер, после ужина,— улыбнулся самый молодой из троих и со слегка извиняющейся интонацией добавил: — Нам не разрешается курить во время исполнения служебных обязанностей.

Весь этот не слишком сложный разговор велся, само собой разумеется, на французском языке. Говорил я, правда, преотвратительно, оперируя преимущественно существительными и глаголами в неопределенном наклонении, и все же меня похвалили (французы остаются французами) — похвалили за произношение.

— У нас тут русские живут по сорок лет, а говорят — куда им до вас.

Другой добавил:

— Гарантирую — три месяца в Париже, и вы будете говорить не хуже нас.

Я был польщен. Как-никак похвалили. И не кто-нибудь, а настоящие парижане.

Мы поговорили еще несколько минут о московской милиции («Правда ли, что туда берут самых здоровых ребят? А мы подошли бы?»), а на прощание я не вытерпел и спросил:

— А почему вы все-таки меня задержали? Разве нельзя фотографировать Эйфелеву башню?

— Почему нельзя? Можно. У нас все можно снимать.

— Почему же тогда задержали?

Старший несколько смутился.

— Видите ли, мы вообще задерживаем всех подозрительных.

— ??

— Ну, а вы... Мы кричим, а вы убегаете... И вообще...— Все трое переглянулись: — Тут всегда много спекулянтов. Обменивают валюту, ну и... тому подобное. В этом месте особенно.

Что и говорить, удачное местечко я выбрал для моих съемок.

— Зато познакомились,— подмигнул мне более молодой (тот самый, который особенно интересовался, вышел ли из него бы московский милиционер) и, чтоб окончательно скрасить неприятное начало нашего знакомства, вырвал из своего справочника маленький план Парижа с указанием всех линий метро.— На память о Париже. Бон вояж! [1]

— Спасибо.

---

[1] Счастливого пути.

— И приезжайте еще.
— Только не на сутки.
— Мы вам весь город покажем...
И мы расстались.
Теперь я спокоен — в Париже я не пропаду...

Через час в аэропорту стряслась другая беда. Выручил на этот раз не паспорт, а билет.

Молодой, весьма расторопный служащий, оформлявший багаж, взглянул на весы, где стояли мои чемоданы, и как бы между делом сказал:

— Лишних десять килограммов. Доплата восемь тысяч франков.

Я обомлел. В кармане у меня только тысяча. К тому же сегодня воскресенье, посольство закрыто. Шофер (наш, русский, из посольства) наскреб у себя около двухсот франков. С минуты на минуту объявят посадку. Что делать?

Я снял с весов туго набитый портфель и тут только вспомнил, что в Риме (билет у меня был прямой Рим — Москва через Париж — Прагу), когда взвешивали мой багаж, я преспокойно держал портфель в руках. А здесь, дурак, бросил на весы. С грустью вручил я шоферу роскошное издание Микеланджело, подаренное мне в Риме, папки с увражами равеннских мозаик, альбомы репродукций итальянских музеев — авось посольство когда-нибудь перешлет. Большую бутылку Лакрима-кристи, которую я вез домой по спе-

циальному заказу, решено было распить тут же, на ходу.

И вдруг голос:

— Мсье летит в Москву?

Испугавший меня восемью тысячами молодой человек весело смотрел на меня.

— В Москву.

— В портфеле книги?

— Книги.— В руках я держал бутылку вина.

Молодой человек закрыл ладонью глаза.

— Все в порядке.

Я стал лихорадочно, пока он не передумал, запихивать книги и бутылку назад в портфель.

— Дайте ему двести франков,— сказал шофер.

Я положил несколько монет на стойку, но молодой человек с такой укоризной посмотрел на меня, что я тут же спрятал их в карман.

— Бон вояж,— сказал он.— Салю а Моску! [1]

По приезде в Москву заграничный паспорт я сдал. А билет сохранил — какое-то чувство благодарности не позволило мне его выкинуть.

Но не пора ли все-таки приняться за начало? Еще Чапек в своих «Английских письмах» рекомендовал: «Начинать — так начинать сначала». Я не последовал

---

[1] Привет Москве.

этому совету. Поэтому, чтобы искупить свою вину, начну даже немножко раньше начала.

Поездка за границу — уточню, первая поездка — сложна тем, что еще задолго до того, как ты получил паспорт, сотни друзей и знакомых начинают давать тебе советы (о поручениях я уже не говорю).

— Ходи только в белой рубашке, цветных там теперь не носят. И трикотажных тоже.

— Помни о ноже и вилке... Ешь двумя руками.

— Этот пиджак слишком короток. О нем не может быть и речи.

— Не пей много...

— Смотри, не протягивай даме руку первым.

— Если будешь в Помпее, не забудь о лупанарии. Это, говорят, самое интересное.

— Везде и всюду давай чаевые, не жмись.

— Смотри, не пей много.

— Не забывай на ночь выставлять ботинки в коридор. Самое важное за границей — начищенная обувь.

— Побольше папирос и марок. Там все собирают марки.

— Джоконда и Венера Милосская... Не посмотришь их, можешь не возвращаться.

— Главное — не пей!

— А где черный костюм? У тебя нет черного костюма? Можешь тогда не ехать. Вечером тебя никуда не пустят.

Черным этим костюмом меня так замучили, что в конце концов я его купил. С трудом, в «комис-

сионке» — кто у нас теперь носит черные костюмы? Потом перешивал. Потом покупал серый в полоску галстук. Потом черные носки и туфли...

Все это стоило много времени и забот, потом мирно провисело около полугода в шкафу — поездку нашу отложили — и, наконец, попав в Италию, так же мирно пролежало в чемодане. Да, в Италии, оказывается, так же как и у нас, никто не носит черных костюмов. Надевают только в исключительных случаях, на официальные рауты и приемы, которые, бог миловал, программой нашей поездки предусмотрены не были. Я воспользовался этим и упрятал костюм на самое дно чемодана, а чемодан оставил в Риме, когда мы поехали на север Италии. И был наказан за свое легкомыслие — не попал в театр Ла Скала. Билеты так и пропали. Не попал, потому что сидеть в партере в цветном, пусть даже и полутoратысячном, костюме категорически запрещено. Возможно, в тот вечер правило это соблюдалось с особой строгостью — на спектакль должен был пожаловать президент республики, специально приехавший на открытие Миланской ярмарки.

Бедные наши миланские друзья! Вконец огорченные, ринулись они к телефону, пытались дозвониться до какого-то прокатного ателье, но было уже поздно, и мне ничего не оставалось делать, как отложить свое знакомство с первым театром и «первым гражданином Италии» до следующего раза.

Попутно и чтоб не возвращаться больше к этому

вопросу — не слишком ли много внимания мы уделяем своей экипировке? В Италии, например, никто не интересовался покроем и фасоном моего костюма. Важно было другое: достаточно ли ты естественно и непринужденно себя в нем чувствуешь. Ходи, как тебе удобно, как ты привык. Главное, не тужься, будь самим собой. И никто не осудит тогда твои недостаточно узкие брюки или не в меру атлетические плечи пиджака.

А черный костюм? Что ж, кто любит оперу, пусть захватит его с собой.

Но довольно об одежде. Пора и в путь...

Паспорт в кармане. Билеты тоже. Отдельным багажом — подарки: книги, какие-то шкатулочки, безделушки, икра, папиросы в красивых коробках, ну и, конечно, водка...

Бедняжка! Везли мы ее нашим будущим итальянским друзьям, но, не в обиду им будь сказано, большинство из них определенно предпочитало ей свое любимое кьянти или, в лучшем случае, коньяк. Пили же нашу «Московскую» главным образом, чтоб сделать нам приятное. Причем не до, а после обеда, давясь маленькими глотками и все же сквозь слезы улыбаясь и одобрительно кивая головой: «Буоно, буоно». Нашей русской, советской братии в Италии она безусловно доставила куда больше радости. Еще большее доставила бы вобла. Но мы были еще неопытны и не догадались захватить ее с собой. Читатель, если ты

поедешь за границу, вези воблу, и побольше. Ты многим доставишь удовольствие.

Итак, мы летим в Рим. Летим по приглашению общества «Италия — СССР». На паспортах — визы итальянского посольства: «Пересечь границу 3 апреля, обратно 24 апреля».

Но до Рима еще Париж...

«Пассажиров, следующих по маршруту Москва — Париж, просят выйти для посадки на самолет».

Великолепная машина самолет, ничего не скажешь. Быстрая, удобная. В дальних полетах к тому же и кормят, причем бесплатно — это входит в стоимость билета. И все же по чужой стране куда интереснее ехать поездом. А может, даже и в дилижансе. Вышел, потоптался, поглазел, зашел в буфет — интересно, чем кормят... А тут за какой-нибудь час отмахал всю Западную Германию. И ничего не увидел. Внизу вата.

Но есть в этой обидной быстроте и своя прелесть.

Три дня тому назад я бродил еще по окрестностям Ленинграда. Стоял яркий солнечный день, но снег в лесу был крепок и глубок. Тропинка как траншея. Под ногами скрипит. То тут, то там следы зайчат. Сосульки длинные, крепкие, чуть-чуть покапывают. Все блестит — глаза зажмуриваешь...

А вот сейчас вынырнул из туч — и под тобой все зелено. Поля, луга, рощицы, парки — прозрачные, нежные, словно пух. И много-много красных, оранжевых крыш среди маленьких зелененьких огородиков. Неужели весна?

А еще через три дня — кто бы мог подумать! — мы лежали на пляже в Остии, в тридцати километрах от Рима. И даже купались. И ничего. В Крыму иногда и летом вода бывает куда холоднее.

«Медамзэмсье, Пари...»

Как? Уже? Где?

В окошке проносятся разноцветные, все в стрелах, полосах и надписях, длиннющие, прижавшиеся к земле самолеты. А вдали что-то плоское, белое, стеклянное с надписью «Орли». Аэропорт Орли́.

Париж?

Париж.

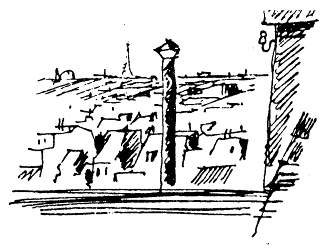
...Ровно в семь утра его можно было видеть в Булонском лесу, совершающим свою утреннюю верховую прогулку...

...В фиакре с задернутыми на окнах занавесками она приезжала каждый вечер в его холостяцкую квартиру на Рю де ла Пэ.

...По приезде в Париж они сняли себе под самой крышей три маленькие комнаты, из окон которых хорошо видны были Сен-Сюльпис и купол Пантеона...

...Тут он вскочил на своего желто-рыжего коня, который без дальнейших приключений довез его до Сент-Антуанских ворот Парижа...





...Спустившиеся на город сумерки застали нашего героя все еще роющимся в книгах букинистов на набережной Сены...

...На башне Сен-Жак пробило двенадцать...

Что это? Откуда?

Да ниоткуда. Я просто придумал все это. Даже не придумал, а вытащил откуда-то из памяти. Оно застряло там, а когда вылезает наружу, кажется знакомым, как знакомы открытки с видами Эйфелевой башни, Нотр-Дам или пересеченной мостами Сены. Как фотографии из старой «Нивы» или французского «Иллюстрасьон». Президент Пуанкаре и Георг V в ландо на Елисейских полях... Генерал Жоффр принимает парад у Триумфальной арки... Все это с детства врезалось мне в память. А когда подрос, узнал Утрилло, Марке, Клода Моне, Тулуз-Лотрека, Ван-Гога — художников, которые любили или не любили этот город, но не могли не писать его.

Париж — самый «литературный», самый «художнический» из всех городов мира.

И вот я стою у окна. И подо мной улица. И называется она Рю Монталламбер. И внизу машины. А передо мной крыши. С мансардами, трубами, котами. А за всем этим — Эйфелева башня... Кусочек ее, верхняя часть. Плохо видно — сейчас туман,— но это она.

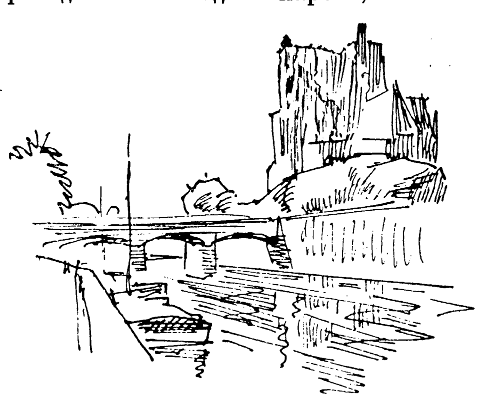
И мы уже два часа как в Париже. Мы пронеслись в машине по его улицам. Мы видали уже бельфор-

ского льва и роденовского Бальзака («Где? Где? Вот это?» — и уже скрылся), и первых живых «ажанов», и мальчишек-газетчиков («Франс-суар! Франс-суар!» — хоть уши затыкай), и маленького лифт-боя с золотыми пуговицами, которому я дал свои первые заграничные чаевые («давай чаевые, не жмись...»). А сейчас я стою и смотрю на верхушку Эйфелевой башни из окна Пон-Рояль-Отеля, расположенного, как сказано в проспекте, «в самой деловой и в то же время здоровой части города, в районе министерств и посольств, по соседству с Лувром, Тюильри и Северным вокзалом...»

По соседству... И Нотр-Дам и Дом инвалидов тоже, оказывается, по соседству! И Сена и Марсово поле! А у меня только вечер, ночь и утро...

Мы идем по набережной Сены. Уже зажглись фонари, отражаются в Сене. И окна домов отражаются. И каштаны.

Нас трое. Известный академик, раз двадцать уже бывавший в Париже, переводчик — молодой парень, впервые попавший за границу, и я, в Париже бывавший и даже живший. Да, да, целых четыре года проживший. Было это, правда, давно — лет сорок с лишним тому назад, еще «до той войны», как у нас говорят — и все-таки это



давало мне право считать себя старожилом и время от времени мимоходом бросать: «А вот за этим мостом будет площадь Согласия. А если свернуть налево и пойти по Елисейским полям, мы попадем на площадь Этуаль...»

И, как ни странно, перейдя громадную, в этот час довольно пустынную площадь Согласия с ее вывезенными из Египта обелисками, с ее фонтанами и скульптурами городов Франции (одна из них — «Страсбург» — в войну 1914 года в знак траура была скрыта от глаз черным покрывалом) и свернув налево, мы действительно попали на Елисейские поля.

Кажется, им нет конца. Только где-то очень-очень далеко. на самом горизонте, точно крохотная безделушка (а сколько их в Париже, этих безделушек,— металлических, пластмассовых, стеклянных), озаренная прожекторами Триумфальная арка.

Идем, идем, очень долго идем, а она все такая же маленькая.

Кончился бульвар — тихий, пустынный (Париж рано ложится спать), начались витрины. Сплошное стекло, гектары стекла, и за ним, в пустоте закрытых магазинов, медленно вращаются умопомрачительно сверкающие, сверхобтекаемые восьми-, десяти- и двенадцатицилиндровые лимузины, кабриолеты и что-то, чему я не могу даже дать название,— такое оно длинное и ни на что уж не похожее. А рядом, в витрине поменьше, порхает какая-то искусственная блестящая птичка, а под ней лениво переливаются на бархате



кольца, браслеты, диадемы и, по-моему, даже короны. Я никогда не думал о том, как короли и королевы приобретают короны. Получают по наследству или им тоже хочется иметь новые, по последней моде? Постоит вот так, вроде меня, у этой витрины какое-нибудь королевское величество, потом зайдет внутрь: «Мужские, 52-й размер есть?» — «Пожалуйста».

Но о витринах и магазинах потом. Успеем.

Триумфальная арка приближается. Осталось только прорваться сквозь водоворот машин. Здесь их много. Кажется, что они кружатся так сутки напролет без всякой цели.

Триумфальная арка. Под аркой могила. В ней лежит человек, которого никто не знает. В дни национальных торжеств здесь произносят речи. Все произносят. И Петэн произносил. Только он, лежащий в могиле, молчит...

Триумфальная арка. Памятник великих побед. Двенадцать авеню, расходящихся во все стороны звездой, напоминают о них. Авеню Ваграм, Иена, Великой Армии, Фридланд. Авеню Марсо, Ош, Клебер, Карно — великих полководцев Франции. И менее великих — Мак-Магона и Фоша. Нет только побед и героев последней войны...

А может, о них, о победах и героях этой последней войны, могут рассказать те двое парней в коротеньких курточках, подпоясанных ремнями? Они застыли у изголовья чугунной плиты, на которой написано: «Неиз-



вестному солдату Франции». Лица их озарены пламенем, горящим на могиле солдата. Один постарше, другой помоложе — курчавый, черноглазый, очевидно южанин. Оба, не мигая, смотрят куда-то вперед. Я не помню, было ли у них в руках оружие. Кажется, нет. Но чувствовалось, что когда-то было и что они умели с ним обращаться.

Кто они? У того, что постарше, синие точки на лице. Не шахтер ли? Но с ними нельзя разговаривать: они в почетном карауле. А как хотелось бы поговорить. Мне кажется, они могли бы кое-что рассказать. О днях Сопротивления, о спущенных под откос эшелонах, о взорванных мостах, о маки, о франтирерах — о том, о чем молчат двенадцать авеню.

Но не только с ними хотелось бы мне поговорить. Хотелось бы поговорить и с другими людьми, теми, которые не в этот день, а в другой, через две недели — 19 апреля, стояли у этой же могилы. С теми, другими, мне легче было бы говорить — они знали русский,— но, вероятно, куда труднее было бы найти с ними общий язык. Этих, других, я так и не увидел. Я о них прочел в эмигрантской газете «Русская мысль», которую купил в киоске на бульваре Сен-Жермен,— она висела рядом с московской «Правдой». В небольшом объявлении на шестой странице сообщалось, что «на торжественную церемонию возжения пламени на могиле Неизвестного солдата приглашаются

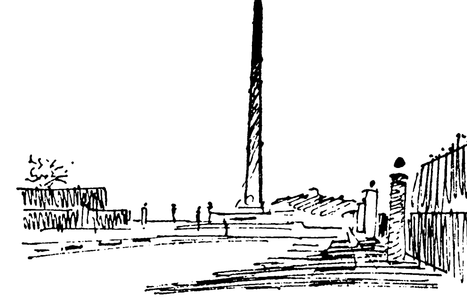
Преображенцы, Измайловцы, Егеря — офицеры и солдаты 3-го Его Императорского Величества стрелкового полка, стрелки Императорской фамилии, кавалергардская семья, все члены Союза русских офицеров — участников первой мировой войны на французском фронте, в парадной форме, при всех орденах...»

Именно о них я невольно вспомнил ровно через полгода, стоя над другой могилой, в другом городе, в моем родном городе, в Киеве.

Восемь генералов бережно и неумело опустили в могилу совсем легонький гроб. Припали к земле знамена. Грянул салют. О крышку гроба ударились мерзлые комья земли.

Над крутым днепровским обрывом высится сейчас обелиск — стремительный, лаконичный. У подножия трепещет пламя. Гранитная плита. Под ней солдат. Никто не знает, кто он. Простой солдат. Тот, что вытянул войну. Месил фронтовую грязь сапожищами, бил немца, грел озябшие руки у печурки, стучал в «козла», материл нерадивого старшину, брал города, форсировал реки. Может, ты с ним и воевал вместе, лежал в одном окопе, докуривал его цигарку...

Ветер рвет пламя над могилой. Кругом венки — большие, торжественные, с красными лентами. И маленькие трогательные букетики. Стоит паренек, рыженький, в ремесленной



курточке. Двое морячков в коротеньких бушлатах. Женщина с ребенком. Стоят, молчат... Каждый думает, вспоминает свое.

Хотелось бы знать, о чем думали и вспоминали измайловцы, преображенцы, егеря и кавалергарды, стоя в парадной форме над могилой французского солдата.

Если вы выйдете из станции метро Порт-Орлеан и повернете налево, то минут через двадцать вы дойдете до парка Монсури. В этом парке прошли первые четыре года моей жизни. Мать, окончившая в свое время Лозаннский университет, работала тогда в одном из парижских госпиталей, я же в компании двух других русских мальчиков (родители их эмигрировали из царской России) пасся в парке Монсури.

И вот спустя сорок два года я иду на встречу со своим детством.

Вышли из метро — я и Лева, наш переводчик,— свернули налево.

Я проверяю свою память.

— Вот дойдем до конца парка и свернем налево. И сразу же направо будет коротенькая улица в несколько домов — Рю Роли.

— Вы это по плану определили,— говорит Лева.

— Ладно, определил. Но то, что угловой дом — одиннадцатый, на плане не сказано. И то, что на углу был магазинчик, тоже не сказано. А в этом магазинчике продавались леденцы. И там был очень высокий

прилавок. Приходилось становиться на цыпочки и куда-то очень высоко тянуть руку с монетой...

Проклятая память! Почему она сорок лет хранит в себе магазинчик, где продавались леденцы, и выбрасывает вон куда более важное, происшедшее пять, десять, пятнадцать лет тому назад?

Угловой дом оказался одиннадцатым. И на углу был магазинчик. Он был закрыт, но я посмотрел сквозь витрину. Вон и прилавок. Но тогда он ей-богу же был гораздо выше.

— А теперь пойдем вдоль этой ограды. Пройдем — ну, сколько мы там пройдем, я не знаю,— но будут ступеньки и вход в парк.

У матери сохранилась моя фотография тех лет. Я круглолиц и коротконос. В каком-то офицерском мундирчике, с саблей на боку, стою на скамейке. Сейчас скамеек в парке нет. Какие-то складные стулья. Но почему не считать, что эта скамейка стояла именно тут?

Встречи с прошлым...

...Школа, в которой ты учился. Дом, в котором жил. Двор — асфальтовый пятачок среди высоких стен. Здесь играли в «коцы», в «сыщиков и разбойников», менялись марками, разбивали носы. Хорошо было. И, главное, просто. Носы быстро заживали...

Но есть и другие встречи. Куда менее идиллические. Встречи с годами войны; с дорогами, по которым ты отступал, с окопами, в которых сидел, с землей, где лежат твои друзья. Но и в этих встречах — суро-

вых и скорее печальных, чем радостных,— бывают такие, что вызывают улыбку.

Я долго бродил по Мамаеву кургану. Прошло восемь лет с тех пор, как мы расстались со Сталинградом. Окопы заросли травой. В воронках квакали лягушки. На местах, где были минные поля, мирно бродили, пощипывая траву, козы. В траншеях валялись черные от ржавчины гильзы, патроны...

Обойдя весь курган, я спускался вниз по оврагу к Волге. И вдруг остановился, не веря своим глазам. Передо мной лежала бочка. Обыкновенная железная, изрешеченная пулями бочка из-под бензина.

В октябре — ноябре сорок второго года передовая проходила по этому самому оврагу. С одной стороны были немцы, с другой — мы. Как-то мне поручили поставить минное поле на противоположном скате оврага. Поле было поставлено, а так как вокруг не было никаких ориентиров — ни столбов, ни разрушенных зданий, ничего,— я на отчетной карточке «привязал» его к этой самой бочке, иными словами, написал: «Левый край поля находится на расстоянии стольких-то метров по азимуту такому-то от железной бочки на дне оврага». Дивизионный инженер долго потом отчитывал меня: «Кто же так привязывает минные поля? Сегодня бочка есть, а завтра нет... Безобразие!..» Мне нечего было ответить.

И вот давно уже прошла война, и нет в помине ни Гитлера, ни минного поля, и мирно пасутся по бывшей передовой козы, а бочка все лежит и лежит.

(Только год спустя ее убрали, когда делали генеральную чистку Мамаева кургана.)

И еще одна встреча. Тоже с прошлым, но вдруг ожившим.

В Сталинграде снимали картину «Солдаты». Снимали на тех же местах, где шли когда-то бои. Опять вырыли окопы, понастроили землянок в крутом волжском берегу (куда им было до тех, настоящих, обжитых!), закоптили сохранившиеся руины — а их совсем не легко было найти сейчас,— словом, по мере сил восстановили недавнее, ставшее уже довольно давним, прошлое.

Как-то ночью шли съемки высадки батальона в городе. Старенький, видавший виды катер «Ласточка» (он воевал и в гражданскую и в эту войну и все-таки остался жив) тащил за собой баржу. Кругом, вздымая столбы воды, рвались снаряды, метались по небу прожектора, шипя, падали в воду ракеты. Солдаты прыгали с баржи и по пояс в воде выбирались на берег. Все до жути было похоже на то, что происходило на этом же берегу четырнадцать лет тому назад. Но, как ни странно, не это, а другое особенно как-то подействовало на меня.

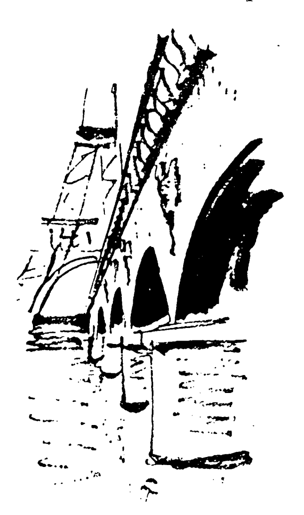
В перерывах между съемками солдаты приданного нам полка отходили в сторону и, расположившись на железнодорожных путях, отдыхали, приводили себя в порядок. На них было старое обмундирование, без погон, с отложными воротничками, у сержантов с треугольничками, у офицеров с кубиками в петлицах.

Они лежали в темноте, перемигиваясь цигарками, позвякивая котелками, негромко окликали друг друга. Кто-то уже храпел. Кто-то затянул песню, тихую, ночную...

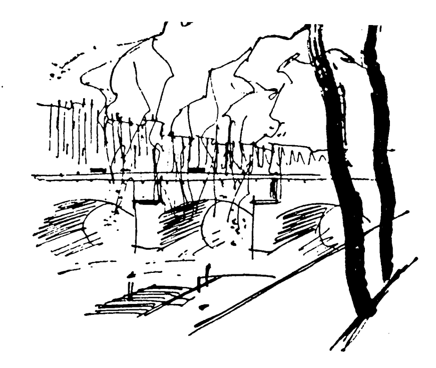
И вот тут-то нахлынули воспоминания — самые, может быть, дорогие, самые близкие...

Но сейчас мы в Париже и будем говорить о Париже.

Самое, пожалуй, поразительное в этом городе то, что он совсем не кажется чужим. Даже не зная языка, ты как-то сразу и легко начинаешь в нем ориентироваться. У него, правда, очень компактная и легко запоминающаяся планировка — кольцо бульваров, два взаимно-перпендикулярных диаметра (один: Елисейские поля — улица Риволи — площадь Нации; другой: бульвары Сен-Мишель — Себастополь — Восточный вокзал) и лучший из всех существующих ориентиров — река Сена, проходящая через самое сердце города. Но дело не в этом. И не в том, что он знаком тебе по прочитанным книгам или виденным картинам. Просто это свойство самого города. В этом его обаяние.



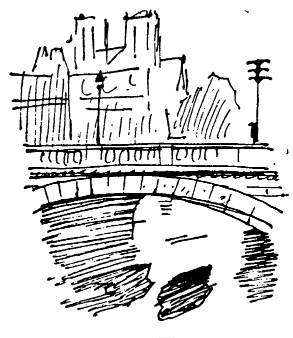
И второе. По Парижу не только легко ходить (кстати, этому помогают



громадные планы города, расположенные у входов и в туннелях метро), по нему приятно ходить. Город, по которому хочется гулять. Не ездить, а гулять. По Берлину, например, гулять не хочется. По Ленинграду, по Праге — хочется. А по Парижу еще больше.

Когда я летел из Рима в Париж, в самолете нам вручили маленькие брошюрки «Эр де Пари» («Воздух Парижа»), изданные авиационной компанией «Эр Франс». В подзаголовке на обложке было написано: «Ваш гид на неделю. 24—30 апреля. Куда пойти в Париже? Спектакли, музеи, рестораны, шопинг» («шопинг» — забавное слово, обозначающее хождение по магазинам, от английского «шоп» — лавка, магазин).

Лишенный возможности из-за туч разглядывать с высоты шести тысяч метров проплывающие под нами Монблан и Женевское озеро, я листал брошюру. От обилия предлагаемых пассажиру парижских достопримечательностей и развлечений разбегались глаза. Рекомендовалось, например, осмотреть один из двадцати девяти музеев или шестнадцати салонов-выставок, посетить один из пятидесяти пяти театров, послушать знаменитых «шансонье» в четырнадцати предлагаемых местах или повеселиться в одном из пятнадцати мюзик-холлов. Если вы любитель кино, на ваш выбор да-



валось шесть французских, четырнадцать американских, три английских, один испанский, один итальянский, один греческий и один советский фильм («Ромео и Джульетта»). Не забыты были портные, парикмахерские и даже аптеки. О ресторанах и магазинах я уже не говорю.

Полистав более или менее внимательно брошюру, я мог составить себе примерно такой план времяпрепровождения в Париже, учитывая, что я пробуду там только сутки.

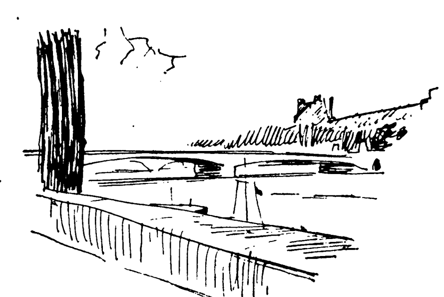
От десяти до восемнадцати часов — музеи. Лувр, выставка «От импрессионизма до наших дней» в галерее Андрэ Мориса, Музей восковых фигур Гревэн, аквариум Трокадеро (рыбы французских рек), выставка, посвященная Наполеону и Римскому королю в Доме инвалидов, или другая — «Французский костюм с 1725 по 1925 год» в Мюзэ д'ар модерн. В восемнадцать часов музеи закрываются. Обедать! Где? В «Мануар норман» («Нормандский замок») или «Бутей д'ор» («Золотая бутылка»). Первый славится громадным, всегда пылающим камином и знаменитыми цыплятами на вертеле, изготовленными мсье Бюролла, великим специалистом этого дела; второй — тем, что существует с 1630 года, расположен против Нотр-Дам и что кормят там каким-то особенным фрикасе из провансальского цыпленка. После цыплят — театр. На мое усмотрение — «Фауст» в Гранд-Опера́ (теперь она на-

зывается почему-то просто Опера́), нашумевшее «Яйцо» Фелисьена Марсо в Ателье или чеховский «Иванов» в Театр д'ожурдюи. На закуску — Мулен-Руж, Фоли-Бержер, Альгамбра или Казино де Пари... Программа прелестная. День заполнен до предела. По приезде домой будет о чем рассказать.

Составляя этот план, я испытывал неизъяснимое наслаждение. Прилетев в Париж, я сунул брошюрку в чемодан и никуда не пошел, даже в Лувр.

Это — преступление, я знаю. Быть в Париже и не взглянуть на Венеру Милосскую и Монну Лизу равносильно тому, что побывать в Риме и не увидеть папу. Но поскольку в Риме я с папой так и не встретился, я позволил себе и вторую вольность — променял сокровища Лувра на парижские улицы.

Парижские улицы... Узенькие, кривые, с забавными названиями — улица Шпор, Хороших мальчиков (Bons-garçons), Кошки, удящей рыбу (Chat-qui-pêche). Двух кузенов, Трех сестер, Четырех воров, и широкие, обсаженные каштанами авеню и бульвары... Улицы «высокой парижской коммерции» (du haut commerce parisien) в районе Мадлен, Сент-Огюстен, бульвара Мальзерб, средоточие самых великолепных и дорогих в мире магазинов-люкс. Всемирно известные площади — большие и маленькие, с памятниками и без памятников, размахнувшиеся среди те-



нистых парков и сжатые высокими стенами домов; они особенно хороши ночью, когда гаснут огни реклам и фонари, изящные парижские фонари с металлическими абажурчиками в виде шлемов, мягко освещают нижние этажи домов. И, наконец, набережные — может быть, самое прекрасное во всем городе. Внизу — пустынные, с покосившимися, глядящими в Сену столетними вязами и молоденькими, двадцатилетними парочками, примостившимися на ступеньках у самой воды; вверху — оживленные, заполненные людьми, куда-то спешащими, бегущими, что-то выгружающими из громадных тупорылых машин или, наоборот, фланирующими, фотографирующими, разглядывающими у прилепившихся к каменному парапету букинистов пожелтевшие от времени книжки.

По ним только и бродить, по этим площадям, набережным и улицам, идти куда глаза глядят, сворачивать направо, налево, петлять, кружить, спуститься в метро, проехать сколько-то там станций и выйти на какой-нибудь особенно улыбнувшейся тебе — Ваграм или Пигаль — и опять куда ноги понесут, если они еще не отказали.

Гостиница Каирэ находится в самом центре, на бульваре Распай. Я вышел из нее, дошел до угла и, остановившись у светофора, почувствовал себя точно витязь на распутье. Пойдешь налево — Национальное собрание и дворец президента, направо — площадь Бастилии, прямо — сад Тюильри, назад — Марсово

поле и Эйфелева башня. Я пошел направо — не знаю почему.

Ты один, дел и обязанностей никаких, деньги кое-какие еще есть, не густо, но есть, погода чудесная — что еще надо? Идешь по бульвару Сен-Жермен и глазеешь по сторонам. Симпатичная девушка продает цветы — перед ней полная корзина цветов, каких-то голубеньких и розовых, незнакомых тебе, и сама она похожа на цветочек. Старик в клеенчатом фартуке приставил лесенку к афишной тумбе и наклеивает что-то очень большое — пока что я вижу на афише только длинные-предлинные ноги в ажурных чулках и туфельках на неправдоподобно высоких и тонких каблучках. А вот на таких же каблучках-гвоздиках пробежали две девушки с хвостатыми прическами, и двое молодых ребят с пестрыми платочками на шее, сидящие за столиком у входа в кафе, точно по команде повернули в их сторону головы. Пожилой господин с болтающейся за спиной тросточкой тоже проводил их взглядом и опять принялся рассматривать выставленные в витрине гипнотически притягивающие к себе сногсшибательными обложками выпуски «библиотеки ужасов».

Бульвар Сен-Жермен — самый книжный из всех бульваров. Здесь можно купить все или почти все, начиная от баснословно дорогих, в тисненных переплетах, нумерованных изданий для знатоков и любителей и кончая грошовыми, запрудившими рынок миллионами экземпляров выпусками, которые так пленили

господина с тросточкой. Книги по живописи, архитектуре, музыке, фотографии, спорту, туризму, телепатии, автомобилям. Книги о том, как дружно жить с женой, не отказывая себе в других развлечениях, как вылечить рак в два месяца, как заводить нужные знакомства. Специальный магазин самоучителей всех языков мира, вплоть до какого-то таинственного бринчи-бринчи. Магазин словарей и справочных изданий. В нем я встретил своего друга детства, тоже повзрослевшего, как и я,— маленький иллюстрированный словарь Ларусс, в котором было столько картинок, что от них оторваться нельзя было. И сейчас я тоже никак не мог от них оторваться, пока любезное «Вам завернуть?» не прекратило это занятие.

В маленьком скверике у церкви Сен-Жермен-де-Прэ я присел на скамейку. Позднее я узнал, что это самая древняя в Париже церковь, что построена она в 557 году и находилась тогда за пределами городских стен (отсюда и название: Сен-Жермен на лугу), что норманны неоднократно разрушали ее, тем не менее колокольне за моей спиной минуло недавно тысяча четыреста лет. А в трех шагах от нее другая достопримечательность Парижа, чуть помоложе, носящая то же название «Сен-Жермен-де-Прэ»,— знаменитое кафе экзистенциалистов.



Садясь на скамейку, я ничего этого не знал и мирно покуривал, глядя

на азартно строивших какое-то сооружение из песка и веток ребятишек. Рядом со мной сидел старик, читавший «Монд». У него было чисто выбритое, все в морщинах и складках пергаментное лицо старого учителя. Я почему-то решил, что он преподает или преподавал когда-то математику. Прочитав газету, старик аккуратно сложил ее, положил в карман, вытащил трубку и долго набивал ее табаком из маленькой плоской коробочки с большой буквой «N» на крышке. Потом долго рылся в карманах в поисках спичек. Я предложил ему свои. Он закурил и, возвращая мне спички (они были итальянские, в плоской зелененькой коробочке), спросил, не португалец ли я. (Кстати, на следующий день в аэропорту какой-то очень смуглый, невероятно черноволосый субъект, суетливо бегавший и искавший кого-то, подбежал вдруг ко мне и, радостно улыбаясь, спросил: «Это вы летите в Лиссабон?» После этого мне очень захотелось увидеть живого португальца, я их никогда не видел.) Старик, узнав, что я русский, недоверчиво посмотрел на меня.

— Русские — большие, широкоплечие и светлые,— сказал он.

Я удивился. В Париже много русских, неужели они все большие, широкоплечие и светлые? Старик ничего на это не ответил и спросил, какой я русский, старый или новый,— очевидно, эмигрант или советский? Мой ответ он попросил подтвердить доказательством. Я вынул рубль. Он долго его рассматривал, потом вернул —

в Италии его ни за что не отдали бы, а попросили бы еще расписаться на нем.

Вдруг без всякой логической связи с предыдущим старик заговорил о Наполеоне. Какой это был император, какой полководец! Только одну ошибку он совершил — поздно начал русский поход. Надо было начинать не в июне, а по крайней мере в апреле или в мае. Тут же он, правда, оговорился, что к русским относится хорошо, что они неплохие солдаты — он видел их в первую войну — молодцы, красавцы! — что у него есть приятель русский, истопник, очень порядочный человек.

Из дальнейшего выяснилось, что старик служит в Доме инвалидов, где погребен Наполеон, то ли гардеробщиком, то ли в охране (говорил он быстро, и я не все понимал, но слово «garde» — охрана, стража, караул — он повторил несколько раз), и тут мне стало ясно, что все интересы старика сводятся в основном к тому, что имеет какое-либо отношение к великому императору (иначе он Наполеона не называл). На пальце у него был перстень с буквой «N», на часах брелок с буквой «N», и даже крохотные запонки на воротничке были украшены малюсенькой буквой «N». Когда мы заговорили о днях оккупации, он сказал, что немцев не любит, но многое им прощает за то, что они перевезли в Дом инвалидов прах Римского короля, сына Наполеона.

Потом старик вдруг обиделся и замолчал, узнав, что я не поклонился праху великого императора и вряд

ли успею это сделать. Сидел, попыхивая трубкой, не глядя на меня, потом, по-видимому, ему это надоело, и он ворчливо спросил, знаю ли я, у стен какого древнего сооружения сижу. И тут же рассказал историю Сен-Жермен-де-Прэ.

Дальнейшему разговору помешала его жена. Толстая, оживленная и сердитая, значительно моложе его, она как-то неожиданно появилась перед нашей скамейкой и сразу стала в чем-то упрекать его. Старик виновато смотрел на нее снизу вверх, потом встал и, несколько сконфуженный своим слабым сопротивлением, попрощался со мной, успев сообщить жене, что я «симпатичный молодой человек из Москвы, к сожалению, не интересующийся историей Франции». Жену это нисколько не тронуло, она решительно взяла его под руку и, продолжая отчитывать, повела за собой. Старик на ходу обернулся, посмотрел на меня и беспомощно развел руками: «Что поделаешь. Такова жизнь...»

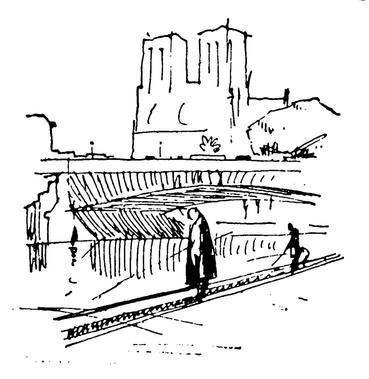
К сожалению, кроме этого старика и трех «ажанов», в Париже мне больше ни с кем не удалось поговорить, если не считать приказчиков и таможенных чиновников. Впрочем, вру — с одной парижанкой я довольно долго разговаривал. Мы сидели с ней в кабинете нашего посла, у великолепного высокого окна, выходящего в небольшой уютный садик. Она пришивала мне оторвавшийся карман на пиджаке, а я слу-

шал ее приятную, не так часто встречающуюся теперь, сохранившуюся только у стариков московскую речь.

— Ну что ж, живу... Уборщицей работаю. Второй год уже из России. И никак не привыкну. Город большой, красивый, очень даже красивый, вы же видели. Да больно уж суетливый. Суетливее, чем Москва. А может, та суета своя, привычная... А может, просто по детям скучаю...

И она повела обычный и всегда чем-то трогающий рассказ матери о своих детях, привычно и ловко орудуя иглой («а теперь и пуговицы укрепим...»), и от всего этого сразу стало как-то тепло и уютно в этом громадном кабинете с торжественной мебелью, в котором сидели когда-то чрезвычайные и полномочные министры Российской империи, а теперь, пока не пришел еще наш посол, тетя Маша, оторвавшись от пылесоса «Ракета», пришивала мне карман.

Ей нравился Париж. И парижане нравились. А думала она все о Москве. «И суета там своя, привычная». Кстати, эта черта свойственна всем русским, живущим за границей. Наши корреспонденты в Италии, с которыми я провел довольно много времени, с улыбкой слушая мои излияния по поводу красот Рима, Флоренции, Венеции, говорили:



— Мы, брат, тоже первые два-три месяца вот так вот бе-



гали высунув язык. Ах, музеи! Ах, руины! Ах, траттории! Ах, дороги! А вот поживи здесь с наше, года тричетыре, так поймешь, что значит для тебя Сивцев Вражек или какая-нибудь твоя киевская, идущая в гору улица. Иной раз даже по милиционеру соскучишься...

И все это говорили русские, которые знали, что через месяц, два, три, шесть, максимум год они вернутся домой на свои Сивцевы Вражки и Николо-Песковские. А что говорить о тех, кто по разным причинам оторвался от родины и далеко не уверен, что встретится с ней опять?

Я много видел таких. Разных, очень разных. В Равенне рядом со мной за столом сидела девушка, специально приехавшая за сто километров повидать земляка с Украины. Попала она в Италию во время войны, здесь вышла замуж. Сама из Днепропетровска. Вспоминала родные места, плакала и просила, чтобы я обязательно прислал ей шевченковский «Кобзарь». «Вы не представляете, что это для меня значит, нет, вы не можете этого понять».

Во Флоренции старушка, библиотекарша общества «Италия — СССР», энергичная и подвижная, с жаром рассказывала, как расширяется круг читателей советской литературы, а вечером («нет, я не хочу вина,

я хочу русской, настоящей русской водки!») тоже расчувствовалась и все расспрашивала, расспрашивала, расспрашивала...

Ирина Ивановна Доллар, преподавательница русской литературы в Венецианском университете, не плакала. В Италии она очутилась совсем еще маленькой девочкой; Россию почти не помнила, но все русское ей по-настоящему дорого.

Я сидел среди ее студентов в маленькой университетской аудитории, и как же приятно было слушать все, что говорили и расспрашивали о русской и советской литературе все эти молодые венецианцы и венецианки, из которых многие приезжают на лекции за десятки километров.

Все они мечтали попасть на фестиваль. Собрали деньги и теперь ждали — разрешат университетские власти или нет? Несколько месяцев спустя я получил от Ирины Ивановны открытку: «Едем на фестиваль!» Как жаль, что я не был тогда в Москве...

Приятно сейчас вспомнить и о Юрии Крайском, вдвоем с которым мы бродили по безмолвным улицам Помпеи и пили вино в уютном домике нашего каприйского гида Винченцо Вердолива, и о Джордже Фолиато, показывавшем нам Флоренцию (кстати, он тоже побывал на фестивале), и о старом флорентийском враче, трогательно приглашавшем нас к себе домой, чтобы показать нам, как чисто по-русски обставлена у него квартира, в общем, о всех тех, для кого слово

«Россия» обозначало пусть далекую, пусть даже чем-то чуждую, но все-таки родину.

Как и почему эти люди очутились в Италии? Не знаю. Мне как-то неловко было допытываться. Но в основном, насколько я понял из разговоров, большинство из них попало сюда или совсем еще маленькими детьми, со своими родителями, или, кто постарше, осел здесь до семнадцатого года.

Но были и другие.

Был немолодой уже содержатель одного из флорентийских ресторанов, который подсел к нам и с грустью заговорил о том, что в Россию ему никогда уже не вернуться.

— Да и стоит ли? Мы теперь уже не нужны друг другу. Ни я ей, ни она мне. Отвыкли друг от друга. Скучать, конечно, скучаю, но возвращаться... И не примут, и делать мне у вас теперь нечего. Здесь у меня семья, никаких особых планов на жизнь я уже не строю, к Италии привык, хоть не все мне здесь по душе.— Он вздохнул, потер ладонями лицо.— Приходите завтра, я вам что-нибудь русское сделаю — борщ со сметаной, блины...

А в маленьком городке Ивреа, недалеко от Турина, на фабрике пишущих машинок Оливетти (о ней речь будет особая) нас сопровождала немолодая и очень словоохотливая дама, имя и отчество которой я сейчас не помню. Фабрика сама по себе, конечно, очень интересна, но дама восторгалась и захлебывалась с таким усердием, что мы, слушая ее, невольно начинали под-

вергать сомнению все, что она говорила. Рабочие, мол, и массу денег зарабатывают, и каждый свою машину имеет, а если не машину, то мотороллер, и квартиры у них отдельные («вот и у меня две комнаты, кухня, ванная, а в Москве, я видела, всё еще по углам жмутся...»), и рабочая столовая здесь лучшая в Италии, и сам Оливетти такой бессребреник, всем раздает деньги, а сам в стареньком пальтишке ходит.

Во всем этом, возможно, и была доля истины — не знаю, проверить то, что нам говорили, мы не могли, а фабрика, со стороны, действительно поражает своим благоустройством и рациональностью,— но когда обо всем этом говорится с таким неумеренным восторгом, невольно закрадывается сомнение.

Попутно о нас самих. Не напоминаем ли мы иногда эту самую даму, когда показываем иностранцам свои достопримечательности? Мне вспоминается скорбный взгляд итальянского писателя Карло Леви, когда три года тому назад в Киеве я спросил его, как ему понравилось московское метро.

— Господи, и вы об этом? — сказал он с укоризной.— Нет человека, который не задал бы мне этого вопроса. Даже в Италии... В вашем посольстве, в Риме, я спросил молодого человека, выдававшего мне визу,— кстати, неглупого, начитанного,— что самое интересное он порекомендует посмотреть мне в Москве. Он подумал-подумал, наморщил брови и сказал: «Метро!» — то же, что я уже раз двадцать слышал от русских. И, может быть, именно поэтому я в нем

не был. А ведь, вероятно, оно действительно хорошее...

После оливеттиевской дамы я понял, что у Карло Леви были основания так говорить.

Но это к слову. Возвращаюсь к тому, с чего начал,— к «другим». С наиболее ярко выраженной категорией этих лиц (хотя далеко не самой многочисленной) я столкнулся в одном из римских ресторанов, носящем название «Библиотека», очевидно потому, что бутылки с вином стоят на полках вдоль всех стен от земли до потолка. Нас было шестеро: мы с Левой и четверо наших корреспондентов. На правах старых, опытных римлян они угощали нас изысканными итальянскими блюдами и винами, наперебой расспрашивали, что нового дома, в Москве, в Ленинграде, Киеве. Потом откуда-то появился фотограф, щелкнул аппаратом и через двадцать минут принес наши изображения, наклеенные уже на паспарту. Одним словом, все шло гладко и мирно. И только под самый конец мы обратили внимание на соседний столик. Там сидела женщина и еще двое: один постарше, другой лет двадцати, совсем мальчишка. Мальчишка был бледен и пьян. Уставившись в пространство, не глядя ни на нас, ни на своих собутыльников, он не очень громко, но достаточно, чтобы мы расслышали, произносил слова:

— Продали Россию... Загадили, запаскудили. Кровью залили. Великие преобразователи человечества. По заграницам теперь разъезжают. Учить нас

хотят. А Россия с голоду дохнет. Продали ее...— И так далее, и так далее.

Судя по глазам и сжатым кулакам моих друзей, вся история могла закончиться в полицейском участке. Но благоразумие взяло верх. Мы расплатились и ушли. В гардеробе опять столкнулись с этой тройкой. Явно пытаясь затеять ссору, старший из них, проходя мимо нас, кинул:

— Не понравилось? А? Струсили?

В ответ ему с достаточной ясностью было сказано, чтó его ожидает, если он сейчас же не скроется. Нас было шестеро, их трое, вернее двое. Больше мы их не видели.

Кто они? Чем занимаются? Не встречались ли мы с ними (с мальчишкой нет, а с тем, постарше) где-нибудь на полях Отечественной войны? Не было ли на нем тогда серо-зеленого мундира?

Немало русских разбросано по земному шару. В Италии, Франции, Южной Африке, Австралии... Сколько среди них мечтает о «Кобзаре», сколько среди них обманутых, хотящих и боящихся вернуться домой, но сколько среди них и ненавидящих. Их меньшинство, но они есть.

Чем же они живут?

Мне трудно судить об этом: кроме той тройки в римском ресторане, мне больше ни с кем не пришлось встречаться. Разве что с газетой «Русская мысль». Существует она уже десять лет, издается в Париже, редактирует ее некий Серж Водов. Я с интересом по-

листал ее. С интересом потому, что, во-первых, никогда до сих пор не читал белоэмигрантских газет, во-вторых, просто потому, что захотелось узнать, чем же живут ее издатели и читатели.

И оказалось — ничем. Ненавистью? Но одной ненавистью не проживешь. А кроме нее, ничего нет. Пустота, безысходность, отсутствие цели, хотя о ней и говорят и пишут. Но верят ли в нее?

Трудно без улыбки, например, читать о том, как какой-то господин Болдырев, деятель Национально-трудового союза, обещает произвести в Советской России переворот, если у него будет сто миллионов долларов. Над этим смеется даже А. Жерби, сотрудник «Русского слова», статью которого «Несколько слов по поводу Конгресса за права и свободу России» я прочел в номере газеты за 23 апреля 1957 года. Я не знаю, кто такой А. Жерби, приславший в «Русскую мысль» свою статью из Нью-Йорка, но, прочитав ее, я окончательно понял всю трагическую и смешную безысходность существующего еще до сих пор «белоэмигрантского движения». Есть еще какие-то партии, союзы, объединения, движения, институты, ассоциации, комитеты, общества — галлиполийцев, кубанцев, витязей, алексеевцев, русских комбатантов, русской православной молодежи и т. д. и т. п., есть собрания, конференции, балы, матине, thé-dançant'ы (чай с танцами), съезды, конгрессы. Нет только одного — цели. Цели, в которую бы верили.

«Мое отрицательное отношение к созываемому в

Гааге на 25—27 апреля «Конгрессу за права и свободу России»,— пишет автор статьи,— является последствием печального опыта с несколькими съездами эмигрантских организаций, созывавшимися за последние десять лет. Ничего, кроме склоки, из этих попыток, начатых с самыми лучшими намерениями, не вышло». И дальше: «Лично мне не известен ни один человек из передовых слоев эмиграции, не только левых, но просто прогрессивных, кто признал бы целесообразность собираться в настоящее время и обсуждать нечто, не поддающееся обсуждению».

Картина более или менее ясная. Остаются только матине и thé-dançant'ы в Русском доме. Об открытии одного из них, в Брюсселе, сообщается в том же номере газеты: «Дом сверкает чистотой, на стенах красуются царские портреты и портреты вождей Добровольческой и Освободительной армий, знамена, гербы, девизы... Имеется зал для конференций, салон для бриджа, русский бильярд, библиотека, читальня».

Вот и нашлось, где посидеть, побеседовать, повспоминать прошлое, полистать свеженькие журналы. Ну хотя бы этот, о выходе которого сообщается все в том же номере:

Вышел из печати № 24
журнала
«ВОЕННАЯ БЫЛЬ».
Издание
Обще-кадетского объединения
под редакцией А. А. Геринга.

В номере: Д. А., «День в Морском корпусе (посвящается выпуску 1915 г.)»; Вл. Третьяков, «Первые добровольцы на Кубани и кубанцы в первом походе»; В. Каминский, «Производство в офицеры»; Л. Беляев, «Офицерские гимнастические фехтовальные курсы в Киеве и 1-я Российская олимпиада»; Анатолий Марков, «Гвардейская юнкерская школа»; В. Богуславский, «75 лет с поступления в Воронежскую военную гимназию», и т. д., и т. д.

Есть еще о чем вспомнить, сидя под портретами вождей «Добровольческой» и «Освободительной» (читай — власовской) армий!

Ну, а тем, кто помоложе, кому нечего вспоминать? Чем им заняться? Оказывается, кроме бриджа и бильярда, есть еще и ипподром. В том же номере газеты некто Н. Нелидов дает дельные советы, как там вести себя, чтобы не оказаться в проигрыше.

«Если у вас попросят прикурить в промежутке между скачками, не играйте: о выигрыше не может быть и речи. Если вас все время толкают — проиграете. Уронили деньги — наступите на них: выиграете. Если вместо кассы, где покупают билеты, по ошибке встанете у кассы, где получают,— выигрыш обеспечен. Это приметы французских игроков. О русских приметах напишу после».

Ну, а если никуда не хочется идти, хочется сидеть дома? И на этот случай газета дает совет в своем отделе «На досуге»:

«ПАСЬЯНС «КОМЕТА»

Возьмите колоду в 52 карты и расположите ее в 8 вертикальных рядов следующим образом: в первых 4 рядах по 6 карт, из коих 5 закрытых, а 6-я открытая, а в последующих 4 рядах — по 7 карт открытых. Пасьянс состоит в том, что...»

И дальше шестьдесят строк объяснения, как скоротать время, если не хочется ни на съезд, ни в библиотеку, ни на ипподром.

Но это еще не все. Газета дает ответы и на более существенные вопросы устами сотрудницы «Женского уголка», всезнающей Натали́. Она все знает, на все может ответить: и сколько сто́ит билет на самолет до Лондона, и где находится Баньер-де-Бигорн и дорого ли там лечение, и что делать Марии Ивановне (Мозель), пятнадцатилетний сын которой в ее отсутствие приходит домой завтракать, но слишком мал, чтобы самому себе приготовить завтрак, и слишком велик, чтобы оставаться одному с прислугой, которой уже семнадцать лет.

«У меня есть подруга француженка,— спрашивает у Натали Петр Иванович,— и у нас вечно недоразумения. Сейчас обиделась, что я не сделал ей подарка на Пасху. Сами знаете, времена тяжелые,— я ей это сказал. А она мне: «Ведешь себя, как будто ты мой законный муж». Что это она хотела сказать, уважаемая Натали?»

И Натали отвечает. На все отвечает. Вот это газета!

Пусто, безысходно, бесконечно тоскливо. Где выход? Кто ответит?

МАЛЕНЬКИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
LES PETITES ANNONCES

Ясновидящая КАЛЬ. Отвеч. на задуман. вопросы, угад. имена и предсказываю будущее. 3—7 час. 70 bis, Av. Clichy, 1-er étage.

Пятнадцать лет тому назад закончились бои в Сталинграде. В течение нескольких часов, даже минут, мы оказались вдруг тыловиками. Фронт был далеко, где-то на Дону. На пушки натягивали чехлы. Из пистолетов и автоматов расстреливались последние патроны. Все небо было в ракетах с утра до поздней ночи. А потом пили.

В перерыве между концом боев и началом празднования я отправился на Тракторный завод. Весь сентябрь я просидел на нем — с 23 августа до 3 октября. Мы должны были взорвать его. В цехах под машинами лежали мешки аммонала. От мешков шли провода в щели — убежища. В щелях мы жили. Там же были и маленькие рубильники, которые надо было включить, как только получим сигнал. Но сигнал так и не дали. В последних числах сентября пришел приказ — взрывчатку из цехов убрать и закопать поглубже. Мы это сделали и ушли на левый берег. Вскоре немцы захватили Тракторный.

Прошло четыре месяца. И вот в первый же мирный

день, вернее даже час, я отправился на Тракторный, чтобы показать, где зарыта взрывчатка. Потом я долго бродил по разрушенному заводу, зашел в ТЭЦ (вместо нас ее разрушили немецкие бомбардировщики), разыскал щель, в которой, не раздеваясь, прожил сорок два дня,— в нее попал снаряд, и она превратилась просто в засыпанную снегом яму. Потом пошел в свою часть.

Не доходя километра три-четыре до нашего штабного оврага, я догнал небольшую группу пленных, которую вел командир роты третьего батальона Стрельцов.

Мы пошли вместе. Немцев было человек восемь. Сумрачные, замерзшие, закутанные в одеяла, с громадными рюкзаками за плечами (немцы не расставались ни с чем, что в силах были поднять), они шли молча, не глядя по сторонам. Только один был без рюкзака — маленький, весь посиневший, с густой черной щетиной, доходившей ему почти до глаз.

— Говорит, что француз,— сказал Стрельцов.— Ругает фрицев на чем свет стоит.

«Шкуру спасает»,— подумал я и задал ему несколько вопросов. Это был первый в моей сознательной жизни француз, если не считать мсье Картье, преподавателя курсов иностранных языков, на которых я когда-то недолго учился.

Француз оказался эльзасцем из города Мюлуз. Имя его я сейчас забыл. До войны работал спортивным обозревателем в местной, а затем в страсбургской газете.

Там, в Страсбурге, у него семья: отец, жена и двое мальчиков — Селестэн и Морис.

— Мóриц? — не выдержал и съязвил я.

— Нет, Мори́с! — Он даже обиделся.— Ударение на «и». Мори́с. И говорят они у меня оба по-французски. Дома только по-французски. Старшему, Селестэну,— десять, Мори́су — шесть...

Мы шли по разъезженной танками и машинами дороге. Кругом в снегу валялись подбитые немецкие пушки, обломки самолетов, ветер гнал вороха немецкой штабной писанины (в те дни Сталинград буквально утопал в ней), а он, маленький, в надвинутой на уши пилотке, с трудом двигая замерзшими губами, рассказывал о своем отце, кавалере ордена Почетного Легиона, полученного за Верден, о матери-парижанке («она умерла еще до войны, и, может, это даже хорошо, она не увидела меня в этом позорном обмундировании»), о своей жене, родом из Лотарингии («у меня сейчас руки замерзли, а то показал бы вам ее фотографию»), опять о своих детях, потом вообще о французах — какие они всегда веселые, остроумные, неунывающие, как ценят они свободу.

Недели через две я опять встретился с ним. Он шел с большой партией пленных, которых уводили за Волгу. Увидев меня, он помахал рукой и что-то крикнул. Мне послышалось что-то вроде: «До встречи в Париже!..»

Тогда, в сорок третьем году, на берегу замерзшей Волги, пожелание это звучало по меньшей мере

смешно. Но вот случилось так, что через пятнадцать лет я действительно попал в Париж. Эльзасца своего я, конечно, не встретил, но, глядя на парижан, невольно вспомнил его слова о веселых, неунывающих французах. Как ни странно, мне они такими не показались. Суждение очень общее и поверхностное, но и в метро, и на улицах, и в магазинах они не производили на меня впечатления людей веселых, неунывающих. Особенно в метро. Молчаливые, сосредоточенно глядящие перед собой или уткнувшиеся в газету, усталые, невеселые люди.

Мне говорили потом, что французы, мол, после войны очень изменились. Стали угрюмее, замкнутее, сидят больше по домам. Так ли это? Не знаю. На Монмартре, например, мне удалось все-таки увидеть веселых парижан. Это были толстые немолодые люди в расстегнутых рубашках, с увлечением катавшие какие-то шары — французская игра, смысл которой я не совсем понял. Дело происходило на маленькой уютной площади у входа в кафе. Какие-то туристы фотографировали играющих, но те не обращали на них внимания и, весело перекрикиваясь, катали свои шары. Я тоже постоял, посмотрел, потом свернул в переулочек и тут обнаружил другую категорию людей, которые тоже ни на кого не обращали внимания. Они сидели за мольбертами и все рисовали одно и то же — яйцевидный купол Сакрэ-Кёр, господствующий над всеми крышами Монмартра. Одни делали его голубым, другие желтым, фиолетовым, а маленький сухонький ста-



ричок с профилем и волосами Листа, в длинной блузе, с бантом — таких я видел только на картинках — изображал его розовым на фоне белесого неба, хотя на самом деле купол был как раз белесым, а небо розовым.

Но не это меня удивило. Удивило то, что такие же точно пейзажи именно этого купола и именно с этого места висели в большом количестве чуть ли не во всех магазинах, торгующих сувенирами, открытками и картинами. Неужели этого количества не хватает, нужно его пополнять? И тут у меня мелькнула нехорошая мысль: а что, если старичок с бантом и его коллеги просто-напросто необходимый аксессуар, без которого Монмартр не был бы Монмартром? Ну что это за Монмартр без художников! Потом мне говорили, что это так, мол, и есть — все они живут за счет туристских компаний, кто ж этого не знает? А веселые толстяки с шарами? Может, они тоже... Но нет, это уже слишком. Да и про художников, по-моему, тоже все придумано. Не хочется этому верить, хотя, в общем, и непонятно, зачем все-таки столько сакрэ-кёров.

На той же маленькой уютной площади, где катали шары, увидал я и других художников — разновидность наших, вырезывающих из черной бумаги профили в парках и фойе кинотеатров. Но эти не вырезывали,

эти просто рисовали. Один из них, молодой рослый парень, судя по всему — по клетчатой навыпуск рубахе с засученными рукавами, по шкиперской русой бородке, которая сейчас в моде у парижской богемы,— должен был быть заядлым абстракционистом. Но это течение, по-видимому, не в большой чести у рядовых заказчиков. Парень самым честным образом, с растушевочкой, с бликами в глазах, очень быстро и ловко рисовал маленькую девочку, сидевшую перед ним на стуле и мучительно старавшуюся не засмеяться. Родители одобрительно кивали головами — им нравилось.

Тут же рядом другой художник, тоже молодой (не студенты ли они?), но менее эффектный, без бородки, писал сразу двоих — жениха и невесту. Она была в подвенечном платье с флердоранжем, он — молодой офицер в кокетливо сдвинутом набок берете. Друзья их, молодые люди в таких же беретах и девицы с распущенными, точно непричесанными волосами, усиленно помогали художнику советами, но, в общем, были довольны его работой. На приколотом к дощечке листе ватмана под разноцветными мелками быстро возникали розовые и очень привлекательные молодожены, может быть даже несколько более привлекательные, чем на самом деле.

Потом вся компания, а вслед за нею и я отправились к Сакрэ-Кёр и там несколько раз сфотографировались на широкой лестнице, идущей к собору. Тут же, на лестнице, тем же самым было занято еще не-

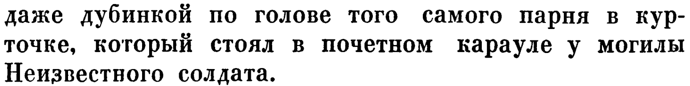
сколько пар. Почему их было так много, не знаю. Одну из групп — папу, маму, жениха, невесту и мальчика с голыми коленками — удостоился чести снять и я. Мне дали аппарат и попросили запечатлеть всех пятерых вместе, но так, чтобы попали и собор, и конная статуя, и, главное, высоченная колокольня, которая никак не вмещалась в кадр. Не знаю, что у меня получилось, но в благодарность я заслужил прелестную улыбку невесты и веточку флердоранжа. Вслед за этим все пятеро степенно проследовали в собор.

Собор Священного сердца — Сакрэ-Кёр — самое, пожалуй, некрасивое и непарижское сооружение во всем Париже. Я не видел церкви Сен-Фрон в Перигэ, формы которой вдохновили творцов Сакрэ-Кёр, но эта многокупольная, пышная, непонятно в каком стиле сделанная громада, строившаяся тридцать четыре года (1876—1910), кажется каким-то посторонним, инородным телом среди монмартрских улочек, переулочков и лестниц. Только низкий благородный звон «Савояра», самого большого в мире колокола, плывущий над крышами Монмартра, несколько искупает громоздкость и пышную эклектику архитектуры.

Но место, на котором стоит собор,— лучшего не найти. Пристроившись на парапете, окружающем небольшую площадь перед собором, я долго сидел и смотрел на погружающийся в вечерние сумерки громадный город. Быть может, вид, открывающийся на Флоренцию с Пьяццале Микеланджело, или всемирно известный ландшафт Неаполитанского залива с пинией

и Везувием сами по себе красивее. Возможно, это и так, но в той красоте есть какая-то открыточная законченность, самой природой придуманная композиция. Здесь же просто город: крыши, крыши, крыши, и первые огоньки в окнах, и светящиеся изнутри перекрытия вокзалов — правее Сен-Лазар, левее Гар дю Нор и Гар де л'Эст,— а дальше купола, колокольни, совсем розовая сейчас лента Сены и все та же Эйфелева башня, которую так ненавидел Мопассан и которая так прочно овладела силуэтом Парижа.

Я сидел на каменных перилах и думал о том, что за те три с чем-то десятка часов, которые я в нем пробыл, я увидел максимум того, что можно было увидеть, я обегал десятки улиц, площадей и парков, ноги у меня болели так, как не болели с лета сорок второго года, когда приходилось проделывать по сорок — пятьдесят километров в сутки, и все-таки я города совсем не знаю. Я видел домá, но что за их фасадами скрывается, я не знаю. Я фотографировал папу, маму, жениха, невесту и мальчика с голыми коленками, но кто они такие, о чем они думают — я не знаю. Единственный парижанин, с которым, по сути, я поговорил, рассказывал мне о Наполеоне, а ведь он, вероятно, мог и кое о чем другом порассказать. Я покупал книги, открытки, билеты в метро, маленькие сувениры, но кто те люди, которые мне их продавали, где они живут, как живут, что делают после шести часов вечера, какие газеты читают и читают ли вообще, а если читают, то почему именно эти, а не те,— ничего этого я не знал.



Я всего лишь несколько минут постоял над тем парнем в клетчатой рубашке, со шкиперской бородкой, а мне хотелось бы с ним посидеть в каком-нибудь бистро́ до двух часов ночи и задать ему тысячу вопросов и ответить на две тысячи его.

Трое «ажанов» на набережной Сены мило мне улыбались и передавали привет Москве. А год спустя эти же «ажаны», возможно, разгоняли на Елисейских полях демонстрации, шедшие с лозунгами «Да здравствует Республика!», и, может быть, били даже дубинкой по голове того самого парня в курточке, который стоял в почетном карауле у могилы Неизвестного солдата.

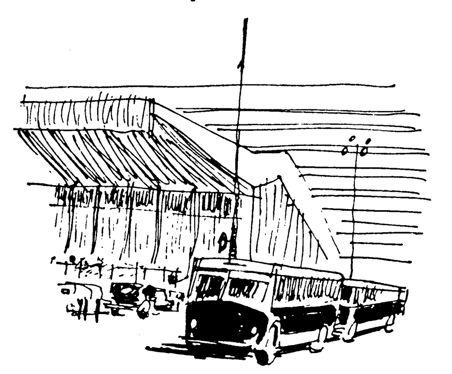
Париж... Парижане... Я видел их, но я не знаю их. А как хотелось бы знать. И не только знать, но и подружиться с ними, теми, чьи предки защищали Великую французскую революцию и Парижскую коммуну, кто сами выходят на улицу с «Марсельезой» на устах, когда свободе Франции грозит опасность. И тогда я понял бы, что настоящие парижане совсем не такие, какими я видел их в метро. Они другие — веселые и неунывающие, любящие и ненавидящие, поющие, танцующие и заразительно смеющиеся, но умеющие, кроме того, и бороться, и драться, и отстаивать свои права, кто бы и под какой бы маской на них ни посягал, одним словом такие, какими описывал их малень-

кий эльзасец в Сталинграде, какие они есть, какими они не могут не быть.

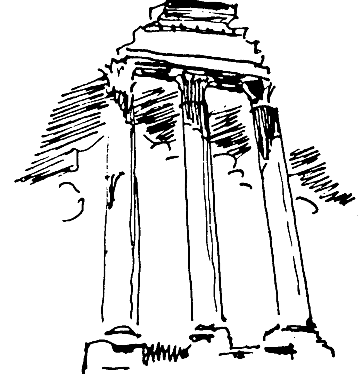
Третьего апреля в половине четвертого мы прибыли в Рим, а в пять был уже прием, или, как он был назван в газетах, «коктейль», устроенный обществом «Италия — СССР». Так началась наша жизнь делегатов, жизнь, в которой завтраки, обеды и ужины являются, пожалуй, самой тяжелой и трудоемкой частью и без того перегруженного расписания.

— Ну что ж, пойдем позавтракаем,— с этих слов обычно начинался наш день.

В час, оказывается, надо уже обедать. Итальянцы обедают в час, и тут уж ничего не поделаешь — надо идти. Обед продолжительный, обязательно с вином — после него, кроме сна, трудно о чем-либо другом мечтать. Но о каком сне можно говорить, когда в четыре нас ждут там-то, в шесть конференция, потом визит к тому-то и конечно же небольшой ужин, а до четырех надо успеть побывать в галерее Уффици, или в Национальном музее, или в Дворце Дожей, или в Ватикане, или... Словом, какой сон в Италии? Спали по четыре-пять часов, и то обидно было.



За двадцать три дня я



видел семь городов — Рим, Турин, Милан, Венецию, Равенну, Флоренцию и Неаполь,— и только в Неаполе не было никаких «мероприятий». И во всех семи — музеи, галереи, выставки, церкви, руины, замки, дворцы, театры, гробницы, памятники. Один только поверхностный осмотр не оставил бы ни минуты времени для чего-либо другого. А мы, собственно говоря, и приехали для этого «другого»: как в старину говорилось, «людей посмотреть и себя показать», а на современном языке — для налаживания контактов.

И тут-то хочется сказать о том, что особенно затрудняло это налаживание. Незнание языков — вот в чем наш грех. Средний итальянский интеллигент, кроме своего родного, обязательно знает или французский, или немецкий, или английский, а то и все три. В любом ресторане, музее, гостинице, на почте, в поезде тебя всегда поймут, если ты заговоришь на одном из этих языков. Италия — страна туристов (двенадцать миллионов туристов в год, оставляющих соответственное количество долларов),— этим многое объясняется. Возможно, это не лучший стимул для изучения языков, но, что там ни говори, важен результат. А мы, в большинстве своем, немы и глухи. Мы прикованы к переводчику. Мы не можем читать газеты. Мы бродим по улицам, сидим в тратториях и остериях и не пони-

маем, о чем вокруг нас говорят, чему радуются, смеются, чем возмущаются. А это, может быть, самое интересное: сидеть вот так вот, в углу за столиком, и слушать, наблюдать, а потом и самому ввязаться, затеять какой-нибудь спор — итальянцы любят это, моментально подхватят.

Всего этого я был лишен. На конференциях я говорил под переводчика. А как это нарушает непосредственную связь со слушателями! В простом разговоре пропадает окраска речи, смысл интонации — перевод, как бы он ни был хорош, все-таки только подстрочник.

Итальянцы со свойственной им восторженностью и деликатностью говорили: «О! Синьор прекрасно объясняется по-французски». Но, простите, что это за разговор, когда, пытаясь, например, высказать свою точку зрения на современную итальянскую архитектуру, я с трудом, мучительно подбирая слова и морща лоб, выжимал наконец из себя: «Вокзал, стадион, аэропорт — хорошо... Дом, где люди живут, хорошо и не хорошо... Один другой похожи, скучно...» В дальнейшем я попытаюсь рассказать о современной западной архитектуре так, чтобы читателю стало понятно, что я хотел этим сказать, но тогда мне хотелось, чтобы меня поняли мои собеседники, а получалось черт знает что, детский лепет.

Второй наш грех. Мы недостаточно знаем современную итальянскую культуру (да и только ли итальянскую!). Мы говорим о Данте, Петрарке, Боккаччо, Леонардо да Винчи, Микеланджело, а нас спра-

шивают о Коррадо Альваро, Чезаре Павезе, Умберто Саба, Элио Витторини, Эудженно Монтале. Увы, мы их не знаем. С Моравиа, Леви, Пратолини мы познакомились каких-нибудь два-три года тому назад, а ведь это крупнейшие писатели с европейскими именами, печатающиеся много лет. Нас спрашивают, какого мы мнения о романах Фолкнера, Саган,— мы разводим руками. Правда, за последние два-три года круг переведенных и изданных на русском языке иностранных писателей значительно расширился, и итальянских в том числе, но помню, как неловко было нам, советским писателям, когда Альберто Моравиа спросил нас как-то в Ленинграде (если не ошибаюсь это было в 1956 году) что-то о Кафке. Мы переглянулись, мы никогда не слыхали этой фамилии. Возможно, на Западе этому писателю придают больше значения, чем он заслуживает (говорю «возможно», так как до сих пор его не читал,— опять же язык!), но слыхать-то о нем все-таки не мешало бы — его книги переведены чуть ли не на все языки мира.

И третье, о чем я уже вскользь упоминал: не надо глотать аршин, он мешает двигаться и говорить, надо быть самим собой. Мы советские люди, к нам присматриваются, стараются нас понять, раскусить, и вот тут-то мы не всегда находим правильную линию. С одной стороны, мы начинаем расхваливать все свое, с другой — так же неумеренно подлаживаемся под обычаи и привычки той страны, в которую попали. Ни того, ни другого не надо — это только мешает. Не надо всем и

каждому говорить, что у нас лучшее в мире метро, что Эйзенштейн «Броненосцем «Потемкиным» сделал переворот в мировой кинематографии, что многие писатели Запада учились у Льва Толстого, а режиссеры у Станиславского,— все это известно. Не надо думать, что, покритиковав картины, например Александра Герасимова, или архитектуру нового Крещатика, мы наносим удар своей родине, роняем ее достоинство. Мы вовсе не обязаны краснеть за это, как и за то, что на вас не перлоновая рубашка, а простая бумажная, ботинки не узконосые, а тупые: что ж, они носят такие, а мы — такие...

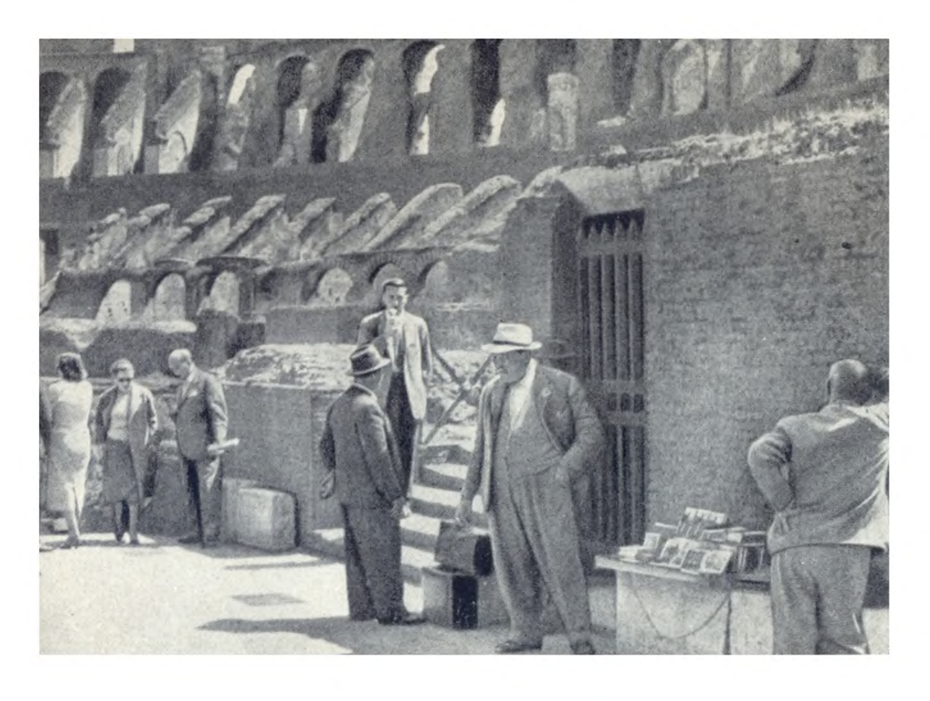
И еще одно: часто мы удручаем своей серьезностью (ах, как мы ее любим!) и забываем, что шуткой можно иногда куда скорее приобрести друга, а если надо, то и отбрить недоброжелателя.

Первый итальянец, с которым я познакомился, был опять-таки, как и француз, военнопленный — веселый, быстроглазый сицилиец Джулиано. Он попал к нам под Одессой, сразу как-то прижился к батальону, сначала помогал повару, затем ходил даже в разведку, сменив петушиные перья своего головного убора на нашу прозаическую пилотку, и вообще стал батальонным любимцем.

Со вторым итальянцем я познакомился через десять лет. Это был Карло Леви — писатель и художник, книги которого «Христос остановился в Эболи» и



Рим... Вечный город. Ему 2700 лет...



Колизей относительно еще не стар — в 1980 году ему минет только 1900 лет.

А собор св. Петра совсем молод — ему нет еще и пятисот лет.





Императорский Рим — Форум...

...и рядом такие вот дома...




Coca-Cola



И такие улицы, знакомые нам по кинокартинам, и такие сцены — нам вовсе незнакомые.



И конечно же, как во всех городах, а в Риме в особенности, все любят фотографироваться.



«Слова — камни» широко известны теперь советскому читателю. В 1955 году он приезжал в Киев, и мы долго бродили с ним по надднепровским садам и паркам. Вернувшись в Италию, он написал книгу о своем путешествии по Советскому Союзу,— она выдержала пять изданий и много сделала для ознакомления широких итальянских кругов с нашей страной.

Оба они — Джулиано и Леви — совсем не были похожи друг на друга. Один — сын палермского шапочника, двадцатилетний разбитной парень, покорявший своим голосом (впрочем, не только голосом) девушек тех сел, где мы стояли. Другой — человек уже немолодой, прославившийся своими книгами и картинами в Европе и далеко за океаном. В общем, люди они были разные. Но обоих объединяло одно качество, вернее три: радушие, приветливость и доброжелательность — качества, присущие, как я потом увидел, большинству встречавшихся мне итальянцев.

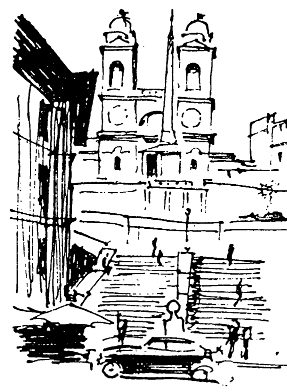
Джулиано в сорок пятом году отправили на родину. Прощаясь, он записал чуть ли не десяток адресов, но ни одного письма я от него так и не получил. В утешение себе, объясняю это его врожденной ненавистью к перу и бумаге. К сожалению, во время нашей поездки по Италии мы не попали в Палермо, на родину Джулиано, и я не увидел ни его, ни его красавицы жены, ни маленького бамбино Пьетро, о которых он

столько нам рассказывал. А жаль, очень хотелось бы их повидать...

С Карло Леви встретиться оказалось куда проще. Он был одним из двух знакомых мне людей на том самом «коктейле», на который мы попали в первый же час своего пребывания в Риме. Вторым был Джованни Пирелли, с которым мы встречались в Киеве, куда он приезжал в составе делегации сторонников мира, сын знаменитого каучукового короля и составитель нашумевшей в свое время книги «Письма приговоренных к смерти», предисловие к которой написал Томас Манн.

Как гостеприимный хозяин, Леви водил нас по залу и знакомил с людьми, чьи имена давно уже стали известны нам по литературе и кинофильмам: с Данило Дольчи, ныне лауреатом Ленинской премии мира, триестинским архитектором, переехавшим в Сицилию, чтобы жить среди крестьян и рыбаков этого многострадального острова, с Ренато Гуттузо (его картины выставлялись в Москве и Ленинграде), с Чезаре Дзаваттини, автором покоривших весь мир фильмов «Рим в одиннадцать часов», «Похитители велосипедов», с Эдуардо де Филиппо, которого я совсем недавно и с не меньшим интересом вторично смотрел в «Неаполе — городе миллионеров», с Альберто Моравиа, автором широко известных у нас «Римских рассказов» и великолепного романа «Чочара», и многими другими, чьи руки приятно было пожать.

Потом мы ездили с Леви на его машине по городу, побывали на такой знакомой нам благодаря трем сим-



патичным девушкам площади Испании, заглянули в маленькое кафе, где когда-то сиживали Гоголь и Александр Иванов (их портреты висят там до сих пор), и закончили день — иначе в Италии нельзя — в одном из ресторанов на площади Навонна. Леви знакомил нас с итальянской кухней и учил, как надо справляться со спагетти, ловко наворачивая эти бесконечно длинные макароны на вилку и не менее ловко отправляя их в рот.

Впрочем, с настоящей итальянской кухней мы познакомились несколько дней спустя, побывав в гостях у Линуччи Саба, дочери знаменитого, ныне покойного, итальянского поэта Умберто Саба. Я не помню точно, чем нас там угощали, помню только, что все было очень вкусно — Линучча Саба славится своими изысканными обедами. Но вечер, проведенный у нее, запомнился не столько кушаньями, которые там подавали, сколько тем, что было после того, как мы с ними покончили.

Небольшая заметка, написанная нашей гостеприимной хозяйкой и опубликованная в газете «Пунто», начиналась так:

« — Русские приглашены на обед? — спросила меня моя кухарка, и в ее глазах появился страх.

— Сегодня у вас действительно будут русские? — спросила привратница, и ее глаза загорелись фанатическим блеском».

Очевидно, этот интерес испытывали не только кухарка и привратница синьоры Саба, так как к концу обеда в маленькой уютной квартирке на шестом этаже трудно было повернуться, столько появилось там гостей.

Среди них был и Васко Пратолини, автор чудесной книги «Повесть о бедных влюбленных», спокойный, сдержанный, с немного печальным взглядом из-под очков, и Джованни Пирелли, и Анджело-Мариа Рипеллино, совсем еще молодой, свободно говорящий по-русски литературовед, составитель довольно полной антологии русской поэзии. Был, конечно, и сам Карло Леви, улыбающийся и приветливый, главный вдохновитель всей этой встречи. Остальных я не знал.

Расположились в небольшой, очень просто, но со вкусом обставленной комнатке. И вот тут-то завязался спор, закончившийся около трех часов ночи.

Не скажу, чтобы эти несколько часов были самыми легкими в моей жизни. Дело в том, что, хотя с октября 1956 года прошло почти полгода, все, связанное с Венгрией, было еще очень свежо. Мои собеседники, усевшись вокруг на диванах, креслах, столах и просто на полу, в течение по крайней мере двух часов подвергали меня перекрестному обстрелу. Мы, конечно, по-разному смотрели на эти события и спорили о них долго (кстати Пирелли сказал, что он не считает наш спор законченным и рад был бы его продолжить в другом, менее многолюдном месте,— к сожалению, осуще-

ствить это не удалось), но часа в два ночи мы сошлись на том, что никому не удастся поколебать дружеские отношения, установившиеся между нами, и что нет лучшего способа укрепить их, как говорить, что думаешь, отстаивать то, во что веришь, прямо, искренне и до конца.

Месяца два спустя, уже в Киеве, я не без улыбки прочел в архибуржуазной итальянской газете «Мондо» нечто вроде отчета об этом вечере. О статье этой мы слыхали еще в Италии, но найти ее почему-то не могли. Итальянские друзья наши, очевидно боясь испортить нам настроение, говорили: ерунда, не стоит и читать! А Карло Леви, считавший себя до какой-то степени ответственным за этот вечер, чуть смутившись, сказал:

— И никто ее не приглашал, эту даму, хотя она и подписалась «Приглашенная». Просто пронюхала и явилась. Нельзя ж было не пустить.

Вероятно, действительно нельзя, да, вероятно, и незачем было, хотя, попадая на званый обед, приятнее находиться в кругу людей, которые не сидят в углу с блокнотом. Впрочем, у «Приглашенной», возможно, блокнота и не было, его с успехом заменила собственная фантазия. Сужу по тому, что моя персона в статье наряжена была почему-то в солдатскую гимнастерку, а сам я изображен в виде «сицилийского крестьянина с жилистыми руками и словно высеченным из камня лицом с густыми бровями над черными глазами». Откровенно говоря, мне очень понравился этот приписы-

ваемый мне экзотический облик, но, увы, он так же далек от истины, как и утверждение, что на вечере присутствовали «двое из русского посольства». Ну что ж! Так интереснее.

Смысл статьи сводился к тому, что под градом сыпавшихся на него вопросов «бедный русский писатель» вспотел, скинул пиджак, оставшись в солдатской гимнастерке, и, исчерпав запас хвалы по адресу своей страны, перешел в контратаку, обвиняя итальянцев в том, что у них демонстрируются антисоветские фильмы американского производства, и ни о чем другом говорить уже не хотел. Кончилось все тем, что только на улице сопровождаемому ни на шаг не отстававшими загадочными «представителями посольства» бедному писателю удалось наконец свободно вздохнуть.

Что ж, почти правда. И пиджак снимал, и о стране своей не так уж плохо говорил, и действительно огорчался тем, что на итальянских экранах демонстрируется антисоветский (кстати, настолько бездарный, что я и получаса не высидел) фильм «Железная юбка». Все это было. Но было и другое — то, чего «Приглашенная» не захотела увидеть. Был громадный интерес друг к другу, желание познакомиться, подружиться, разобраться во всем том, что подчас еще мешает этому. В маленькой комнатке на шестом этаже собрались представители двух различных миров, которым не так часто приходится встречаться и которые, к сожалению, еще так мало знают друг о друге.

«Может быть, в глазах наших гостей мы кажемся марсианами? Не думаю, но верно то, что в наших глазах они ими не являются»,— так закончила свою статью в газете «Пунто» наша гостеприимная хозяйка.

Пользуюсь случаем, чтобы заверить Линуччу Саба, что и мы (Лева и я) не приняли их за марсиан, что вечер, проведенный у нее, был очень интересен, и что если мы действительно вздохнули, выйдя на улицу, то просто потому, что на ночной улице дышать куда легче, чем в пятнадцатиметровой комнате, набитой по меньшей мере двадцатью курильщиками.

Возвращаясь же к статье в «Мондо», скажу только одно: статья эта была единственной недоброжелательной из всех, которые появились тогда в итальянских газетах по поводу нашего приезда.

Откровенно говоря, отправляясь в Италию, я ожидал эксцессов покрупнее. Известно, что осенью пятьдесят шестого года по Италии прокатилась волна антисоветских демонстраций. Позднее я узнал, что демонстрации эти инспирированы были правительством, что основная масса участников состояла из школьников старших классов и что в эти дни занятия в школах начальством были отменены. Картина ясная.

Нет, итальянский народ не удалось поколебать. Тяга к Советскому Союзу осталась прежней. Мы ощущали это везде — и на конференциях, и при встречах с рабочими, и за чашкой густого сладкого кофе, без которого итальянцы не могут прожить и часа, и просто на улице, сталкиваясь с людьми.

Перед первой нашей конференцией я порядочно-таки волновался. Это было в Турине. Впервые в жизни я должен был выступить перед людьми, не знающими моего языка, живущими в чужой стране, перед людьми, образ мыслей которых мне незнаком и чей круг познаний о нашей стране тоже неизвестен.

Зал небольшой, но народу много. Старые, молодые, мужчины, женщины. У некоторых в руках блокноты, тетради, у других фотоаппараты. Все молчат, ждут. Кто они? Не знаю. В основном, понимаю, что люди, симпатизирующие нам, но вот там, у колонны, несколько ребят в коротеньких курточках о чем-то все время перешептываются — чувствую, что молчать они не будут.

Тема лекции — советская литература, пути ее развития. Попутно — театр, живопись, архитектура, кино. Говорить приходится по две-три фразы, потом включается переводчик. Это раздражает, мешает и мне и слушателям. Но слушают внимательно, не перебивая. Длится это около часа. Потом вопросы.

И вот тут-то, во время вопросов,— а недостатка в них не было,— атмосфера сразу прояснилась. И в Турине (мальчишки в курточках) и потом в Милане, Венеции, Флоренции обязательно находились один-два человека, которые пытались подкуснуть, пустить шпильку, задать каверзный вопрос. И нужно сказать, в этих случаях я сразу же чувствовал поддержку зала. Кстати, мальчишки в курточках, задавшие столько многословных и туманных вопросов, что зал в конце

концов взбунтовался, оказались очень славными ребятами. После конференции мы разговорились в коридоре. Все трое — студенты театрального училища. Узнав, что и я в свое время закончил нечто подобное, они моментально забыли все свои туманные, «умные» вопросы и превратились в обыкновенных, славных, любознательных студентов. «Вы видели живого Станиславского? И разговаривали с ним? Какой он? А где достать его книги? А как вы относитесь к Мейерхольду? А почему вы бросили театр?..» Расстались мы друзьями.

Повторяю, задающих всякие каверзные вопросы было мало, и каждый раз зал дружно встречал их в штыки. Но были и другие вопросы и высказывания — дружеские, но такие, с которыми нельзя было не поспорить.

Среди итальянской интеллигенции распространено мнение, что до XX съезда партии наша военная и послевоенная литература была сплошь «лакировочной» и лишь после XX съезда стали появляться правдивые, реалистические произведения. Согласиться с этим, конечно, было нельзя. Пришлось напомнить о многих советских писателях, к сожалению, итальянскому читателю мало знакомых. Много спрашивали о нашей живописи, театре, архитектуре. И здесь тоже можно было рассказать о том, что, кроме высотных зданий, у нас создавались очень интересные архитектурные ансамбли, что, кроме помпезных «официальных» полотен, на выставках появлялись работы художников,

очень разных по своей манере, по умению видеть и воспроизводить окружающее, но всегда твердо стоявших и стоящих на реалистической основе.

Говорил я и о партийности нашей литературы, о том, что это вовсе не значит — пиши только о партии и партийцах, причем преимущественно хороших, а не плохих, что это — понятие гораздо более широкое, вытекающее из нашего мировоззрения, того самого мировоззрения, которое многие из нас защищали с оружием в руках. Надо было сказать и о сознательной тенденциозности нашей литературы, и о народности ее, и о ее воспитательной роли, которой мы придаем большое значение, и о том вреде, который ей нанес «культ личности», и о тех перспективах, которые раскрылись перед нами после XX съезда.

Все это выслушивалось с большим вниманием, иногда вызывало полемику, споры, но во всем чувствовался неподдельный интерес к нашей стране, к ее людям, к ее культуре.

Особую радость доставил мне маленький эпизод, разыгравшийся в одной венецианской остерии. Мы гуляли по городу. После Дворца Дожей, площади Сан-Марко и Виа-Скьявонни — центральной набережной с лучшими кафе и отелями — мы, переправившись через Канал Гранде, попали из Венеции туристской в Венецию рабочую, трудовую. Проголодавшись, решили зайти куда-нибудь закусить. Ирина Ивановна Доллар — наш верный чичероне в Венеции — предложила зайти в ближайшую остерию, или, как иногда их в

Италии называют, вини-кучине,— небольшую таверну, «забегаловку», посещаемую рабочим людом близлежащего квартала.

Зашли. Помещение небольшое, одна комната. Деревянные столы, скамейки. У входа стойка, за стойкой попеременно то хозяин, то хозяйка. Народу немного — сегодня воскресенье. Через два столика от нас четверо стариков играют не то в домино, не то в кости. Посетители (все они друзья или знакомые хозяев) заходят — «чао! чао!» («привет!»),— выпивают стаканчик вина, не присаживаясь, пожуют что-то, перебросятся двумя-тремя фразами и — «чао! чао!» — уходят.

Мы сели в дальнем углу. Ели что-то острое, приправленное обязательным оливковым маслом. Мы чужие, поэтому хозяин — гостеприимный и радушный, как итальянцы вообще, а содержатели остерий и тратторий особенно,— подсел к нам. И тут-то начался разговор, чем-то очень напомнивший мне беседу с парижскими «ажанами». Вернее, в Париже я вспомнил этот разговор.

— Чао! Приятного аппетита.

— Спасибо.

— Вкусно?

— Вкусно.

— Ну, я очень рад... Кушайте, кушайте. Это, конечно, не то, что на Пьяццетта Сан-Марко, но зато и лир больше в кармане останется.



Он знал, что говорил. Мы с Левой

уже попались: выпили по стакану кофе за столиком прямо на площади против Дворца Дожей и оба похолодели, когда пришлось расплачиваться.

Мы налили хозяину стаканчик.

— Ваше здоровье! — Он с аппетитом выпил собственное вино.— Так вы, значит, русский? Очень приятно. Инженер, артист? Писатель, говорите? О! Манифико! Я читал кое-что. И видал даже. В прошлом году. Приезжали сюда на конгресс два русских писателя — синьор Полевой и другой, пожилой уже, седой, красивый...

— Не Федин ли?

— Да, да, Федин. Очень красивый синьор. Мне показывали их обоих на улице. А ну, Лючия, дай-ка нам еще бутылочку. Нет, нет, разрешите. Это уж я угощаю... И заодно принеси книжку, как ее?.. Забыл фамилию. Мы тут прочли недавно одну вашу русскую книжку, как человек вернулся с фронта, жена ему изменила, а он... как его звали, Лючия? Митиясов?

Я обомлел. Я не верил ушам своим. Речь шла о моей книге. Может ли это быть?

Началась поиски книги. Лючия, оказывается, отдала ее кому-то почитать. За ней посылается шустрый мальчонка, пришедший за вином для отца. Через минуту он возвращается: никого не застал, уехали к родственникам в Мурано.

— Вот всегда так. Ни на кого положиться нельзя...

На столе появляется еще одна бутылка, такая же пузатая, оплетенная соломой, как и две предыдущие.

Подсаживается и Лючия — полная, крепкая, вероятно крикливая и добрая, словом очень знакомая нам по неореалистическим фильмам. (В Италии мне все время казалось, что я встречаюсь с героями «Рима в одиннадцать часов» или «Полицейского и вора». Кстати, не в этом ли секрет их успеха?) Разговор довольно быстро перешел с литературы на цены, на дороговизну жизни. Щупаются наши пиджаки, разглядывается обувь — сколько же это в переводе на лиры? Кончается все тем, что приходится расписаться на партбилете хозяина — он, оказывается, коммунист. Между прочим, в Италии это почему-то очень распространено — расписываться на партбилетах. В магазинах, например, если хозяин-коммунист (а и таких немало) узнает, что ты русский, он чуть ли не за полцены отдаст тебе товар, а потом торжественно вытащит откуда-то из ящика маленькую книжечку ИКП и попросит оставить на ней свой автограф.

Когда мы распрощались, я был на седьмом небе от счастья. Подумать только, такая встреча с читателем! Никем не организованная, как «очередное мероприятие», а случайная, в тесной вини-кучине на берегу рио Санта-Мариа Маджоре или рио Кармини, среди грузчиков, штукатуров и забежавших по пути выпить стаканчик вина почтальонов.

Правда, несколько дней спустя во Флоренции, на одном из заводов, куда мы попали во время обеденного перерыва, нас постигло разочарование. Ни один из рабочих, с которыми мы встречались, оказывается,

русских книг не читал. А как приятно было бы сказать потом — так, между делом, или поддерживая свою точку зрения: «А вот один парень из Флоренции, токарь завода «Галилео», считает, что четвертая часть «Тихого Дона» самая сильная», или что-нибудь в этом роде. Но что поделаешь, нельзя этого сказать — не читали. Просто времени нет. «Свою собственную «Унита» или «Аванти» и то не всегда успеваешь перелистать, а вы говорите — книги...»

И тут же посыпались вопросы.

Интересно, что тут, на заводе, где, кроме коммунистов и социалистов, были и беспартийные и даже члены правительственной христианско-демократической партии, нам не задали ни одного каверзного вопроса. Очень много спрашивали о XX съезде, об изменениях, которые он принес, ну и конечно же об уровне жизни.

И это понятно. Говорят о том, с чем чаще приходится сталкиваться (итальянец и в книгах ищет близкое ему, современное, знакомое). О ценах говорят много и с большим знанием дела. И о своих и о наших. Любят проводить параллели — где же лучше, где дешевле жить? Занятие это очень увлекательное (оно увлекло и нас), но отнюдь не легкое.

Установить сравнительную шкалу благосостояния не так-то просто. Ясно только, что одеться в Италии легче, чем у нас, прокормиться же труднее. Очень дорого лечение. Итальянцы так и говорят: болеть нельзя, разоришься. Сложен и квартирный вопрос. В Италии квартиры очень дороги — на это жалуются все, но так

или иначе средний интеллигент, например, в жилищном отношении живет вполне благоустроенно. Коммунальных квартир я не видел нигде. Как минимум две-три комнаты со всеми удобствами, причем в крупных городах на смену газу уже пришло электричество. Зато и трущоб, подобных итальянским, я у нас не встречал. Об этом столько уже писалось, что как-то неловко повторять, но все-таки даже Сталинград первого послевоенного года бледнеет, например, перед районом Сан-Биаджио деи Либрари в Неаполе. Не в обиду Сталинграду будь сказано, район этот куда живописнее. От его полутора-двухметровых в ширину, завешанных бельем кривых уличек, переулочков, тупичков, от всех этих лестниц, арок, ходов и переходов оторваться невозможно. Но жить там...

Район Сан-Биаджио деи Либрари, или, как его еще называют, Куорпо е'Наполи (Тело Неаполя), расположен в самом центре города. Он чудом сохранился после опустошительной эпидемии холеры, охватившей город в 1884 году, после которой много строений было снесено до основания. И сохранился почти в неизменном виде. Высокие мрачные дома тесно прижались друг к другу. Дворы — колодцы, улицы — щели. Сырость, грязь. Чудесное неаполитанское солнце не в силах пробиться на дно этих ущелий. А на дне в мусорных кучах с веселым криком копошится черноглазая,



курчавая, на все плюющая ребятня, стучат молотками сапожники, бондари, лудильщики, слесари, сидят на низеньких табуретках шляпочники, портные, часовщики, а рядом, о чем-то переругиваясь, жарят что-то на жаровнях их жены. И все это у входов в собственные жилища, мрачные, лишенные света комнаты, четвертая стена которых просто дверь на улицу. И тут же, прямо на улице, на прилавке горы апельсинов и гроздья бананов, облепленных мухами, а рядом на стене печальная мадонна с младенцем, и лампадка, и свечи, и цветы, а в пяти шагах дохлая кошка, которую никто не убирает, а над всем этим в два-три яруса сохнущее белье и где-то в недосягаемой вышине крохотный клочок неба. И как-то нелепо на фоне всей этой мрачной, хотя и живописной, а на наш взгляд, театрально-декоративной антисанитарии выглядят прислоненные то тут, то там к стене мотороллеры «Веспа» — мечта каждого итальянца.

По этому «Телу Неаполя» нас водил неаполитанский художник Паоло Риччи.

— Дайте мне ваш фотоаппарат и не раскрывайте рта,— предупредил он меня.— Здесь не любят иностранцев.

К концу прогулки, когда самые «опасные» места были позади, он разрешил заснять несколько кадров.

Мы зашли в небольшой дворик. От обилия галерей, веранд, лесенок и развешанного белья мое фотолюбительское сердце замерло. Тут была и детвора, и примостившийся в неизвестно откуда взявшемся луче солнца старик с газетой, и грудастые громогласные женщины в окнах. Но мне не удалось сделать ни одного кадра. Только я достал аппарат, как сначала старик, а потом и сбежавшие вниз грудастые громогласные женщины обрушились на меня со всей силой своего южного темперамента. Кричали громко, неистово, закрывая глаза, вздымая к небу руки. Мы обратились в бегство.

— Видите, я был прав,— отчитывал меня потом Риччи.— Между собой они могут ругать все, что хочешь, и этот двор, и соседей, и лавочника, который их обирает, и полицию, и мэра, и все правительство, вместе взятое, и самого президента. Но чтобы видели их нищету — не хотят. А того более, чтоб фотографировали. Не хотят, и все!

Итальянцы... Нельзя не влюбиться в этот народ. Веселый, радушный, непосредственный, вспыльчивый, нежный и грубовато-фамильярный, увлекающийся, часто наивный и очень красивый.

Простите, скажут мне итальянцы, но мы вовсе не так однородны. Миланцы и римляне, римляне и неаполитанцы, неаполитанцы и сицилийцы — между ними пропасть. Может быть, не спорю. Не всякого римля-

нина поймут в Неаполе — я сам это видел. И все-таки для меня итальянцы — это итальянцы, будь они из Турина, Болоньи или Палермо.

В одном из интервью перед самым отъездом меня спросили: кого и что вы больше всего полюбили в Италии? Вопрос, сами понимаете, нелегкий — я многое видел за эти быстро пролетевшие три недели, со многими по-настоящему сдружился,— и все-таки я твердо ответил: Марчелло. Марчелло — шофер. Мы исколесили с ним весь Рим. Он знал десятка два русских слов, я — десятка два итальянских, и оба мы — с полсотни французских.

В Риме, как и везде, дел было по горло. Но все-таки иногда появлялись «окна». И вот тогда я выходил из гостиницы на узенькую, бурлящую машинами и мотороллерами Корсо, и сразу же вырастал передо мной Марчелло — черноглазый, чернобровый, черноволосый, улыбающийся.

— Чао, синьор Виктор!

— Чао, Марчелло.

— Свободен?

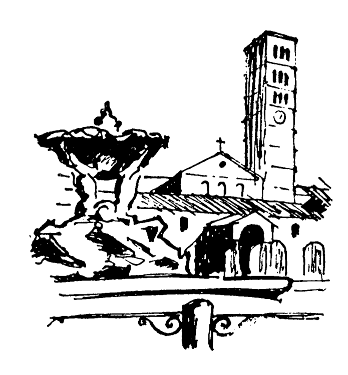


— Свободен.

— Поедем?

— Поедем.

Я садился к нему в машину, он вопросительно смотрел на меня, я произносил: Санта-Мария ин Космедин, или Сан-Пьетро, или Джаниколо, или Вилла Боргезе (от одних названий за-



хватывало дух!) — и начинался наш стремительный, чисто итальянский бег по Риму.

Привыкнув в Москве и Киеве к светофорам и грозным регулировщикам, я никак не мог сначала понять, как передвигаются по буквально битком набитым и, в общем, нешироким римским улицам итальянские шоферы. И тут есть светофоры, и тут есть постовые (правда, не много и не везде), но на них както никто не обращает внимания. Едут впритирочку, срезают, где хотят, махнув рукой — сойдет! — проезжают заградительные знаки, неожиданно, так, что прикусываешь себе язык, со страшным скрежетом тормозят, выезжают на улицу пошире и несутся со скоростью ста километров в час. Несчастный пешеход! Но и он, оказывается не унывает. Лезет в самую гущу потока, помахивает рукой — стоп, мол, пропусти! — и спокойненько себе идет, не прекращая разговора. И машины притормаживают, и никто не ругается, и шофер в своей машине также ни на минуту не прекращает разговора. Непостижимо...

— А как у вас с авариями, Марчелло? — спрашиваю я его на нашем с ним франко-русско-итальянском наречии.

— Обыкновенно.

— То есть?

— Много.

— Зачем же вы так ездите?

— А как же? Все торопятся.

— На тот свет?

Марчелло смеется, сверкая зубами.

— Не беспокойся, не убью... Это на автострадах много аварий, а здесь нет. Здесь больше воруют.

— Что? Машины?

— Еще как! — И опять смеется.

Оказывается, в Италии действительно довольно бойко воруют машины. Их много — я не помню точно цифру, да это и не существенно,— а гаражей мало, не хватает. Машины оставляют прямо на улице. Когда идешь по ночному Риму, видишь бесконечные их вереницы всех марок и возрастов, выстроившиеся вдоль тротуаров. Есть, правда, сторожа. Днем, например, если тебе надо где-то на какое-то время бросить машину и после долгих поисков удается наконец найти свободное местечко у тротуара, к тебе сразу же подбежит разбитной парень и выдаст квитанцию: за столько-то лир он будет следить за машиной. Иначе могут спереть — и не только ночью, а и днем.

Итак, мы мчимся, лавируя среди «фиатов», «доджей» и «студебеккеров», мимо дворцов и развалин, мимо всего того, чем славен Рим, и на каждом шагу хочется остановиться, вылезть и немножко побродить, но нельзя — к такому-то часу надо быть дома.

Время от времени Марчелло кивнет в сторону какой-нибудь пролетевшей мимо нас церкви и скажет: «Бабушка». Это значит, что церковь старинная. В одну



из таких «бабушек» мы зашли. Она была на ремонте, но Марчелло моментально нашел какой-то вход, и мы через горы мусора, балансируя по доскам, в полумраке добрались до того, о чем я с давних лет мечтал. Мы были в базилике Сан-Пьетро ин Винколи у гробницы папы Юлия II. Пред нами на невысоком постаменте, освещенный падающими откуда-то тусклыми лучами солнца, могучий и задумчивый, сидел Моисей.

«Трагедия надгробия» — так выразился об этом шедевре Микеланджело его биограф Кондиви. Сорок лет, почти полжизни, отдал гениальный мастер этому грандиозно задуманному произведению, от которого остались только три фигуры — Моисей, Рахиль и Лия.

А скольких волнений, скольких страданий, оскорблений и унижений стоило оно ему! Пожалуй, ни одно из его произведений не отняло у него столько энергии, сил, крови. За сорок лет сменилось трое пап, и у каждого был свой вкус, четыре раза перезаключался договор, четыре раза предъявлялись новые требования, и в результате от первоначального замысла — обособленно стоящей, открытой взору со всех четырех сторон, украшенной более чем сорока статуями гробницы — осталось скромное, опертое о стену надгробие и семь статуй, из которых только три принадлежат резцу Микеланджело.

Но и этого вполне достаточно.

Описать впечатление, которое производят творения Микеланджело, невозможно. Мне выпало великое счастье увидеть Пиету, Давида, гробницу Медичи, Сикстинскую капеллу. Я не буду повторять то, что всем известно. Скажу только одно, хотя и это известно,— от общения с настоящим искусством становится и радостно и грустно. Радостно за человека, который мог это сделать, и грустно за человека, который многое позабыл.

Особенно остро почувствовал я это во Флоренции. Нам захотелось посмотреть оригинал Давида (на площади Синьории стоит великолепно сделанная мраморная, но все-таки копия). Оригинал находится в Академии искусств. Пришли мы туда за пять минут до закрытия. Билеты уже не продавали, но старичок служитель разрешил нам приоткрыть тяжелые, массивные двери. В глубине зала, в нише, прямо против нас стоял тот самый большеголовый, сильный, грациозный юноша с пращой на плече, которого мы столько раз видали и рисовали в Музее имени Пушкина в Москве.

— Простите, синьоры, четыре часа...

Дверь закрылась.

— А вы подымитесь на второй этаж, вот по этой лесенке. Там небольшая, но очень интересная выставка. Последние работы итальянских художников.

Мы пошли.

Выставка действительно оказалась небольшой — всего три комнаты. Были на ней и интересные работы — Ренато Гуттузо, Карло Леви,— но первая пре-

мия (миллион лир) присуждена была художнику Пиранделло, потомку знаменитого писателя. На громадном, чуть не во всю стену холсте были смешаны без всякой системы и, по-моему, даже без участия кисти все существующие и не существующие в спектре цвета. Внизу стояла подпись, не помню уже какая, то ли «Восторг», то ли «Медитация», то ли «Заход солнца на Адриатическом море» (нет, ту делали ослиный хвост и сахар),— одним словом, подпись была. И перед этим холстом стояли люди, самые обыкновенные люди, в пиджаках, галстуках, и никто не улыбался... Нет, не надо было нам перед приходом сюда приоткрывать ту тяжелую, массивную дверь. А может, наоборот, автору премированной картины надо было бы почаще это делать.

Искусство идет своими очень сложными путями. Можно спорить о том, что лучше — Акрополь или здание Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, Андрей Рублев или Ван-Гог, Виа Аппиа или автострада Милан — Турин,— все это не на ровном месте родилось, во всем есть своя закономерность. Но что поделаешь, если после Давида, взглянув на удостоенную миллионной премии картину, становится как-то очень уж грустно?

Объективности ради, не могу не сказать, что не весело, хотя и по другим причинам, мне бывало не только во Флоренции. Нечто подобное испытывал я, увы, и в нашем Манеже, когда я стоял перед некоторыми картинами и скульптурами, вернее, быстро проходил мимо

них, так как стоять не хотелось. А таких произведений, где сердце заменено темой, поэтическое мастерство — размерами, мысли — болтовней, музыка — треском,— немало их еще и у нас! И, минуя их, с какой благодарностью останавливаешься в этом же Манеже перед картиной, ну, допустим, Неменского, где молоденький солдатик проснулся и увидел весну.

Я не беру на себя смелость судить, так ли только надо писать, как пишут Неменский, или Пластов, или еще кто-нибудь другой. Более того, я не сомневаюсь, что и «абстрактная» живопись имеет право на свое место под солнцем. Конечно, не когда ее выдают за картину, претендующую на какое-то высшее содержание, а когда она находится в соответствующем интерьере, как цветовое пятно, как составная часть общей архитектурной композиции, или как рисунок ткани, как узор ковра. Всему свое место, свое назначение.

Обидно другое. Обидно, что, стоя перед некоторыми полотнами в Манеже, я вспоминал Пиранделло и думал: да, конечно, выдавливать тюбики на холст, делая вид, что пишешь картину,— занятие бессмысленное, но плохая картина так и останется плохой картиной, хотя бы она называлась даже «Залп «Авроры»... А ведь глядя на эту последнюю, становится просто больно за великого человека, изображенного на ней. Образ Ленина слишком дорог нам, чтоб нас не оскорбляли попытки использовать дорогие нам черты для создания чисто внешнего облика без большого со-

циального содержания, без подлинного художественного реализма.

Залп «Авроры». Когда он грянул, мне было шесть лет, жил я в далеком от Петрограда Киеве, учился писать первые буквы и не имею права как очевидец говорить о том, правильно или неправильно изобразил художник знаменательное событие. Но раз уж я позволил себе заговорить о правде изображаемого, не могу не сказать несколько слов об изображении того, свидетелем чего я был.

Как-то после войны я попал в тот самый полк, в котором мне пришлось воевать в Сталинграде. Никого из «стариков» я уже там не застал. У командиров на груди академические значки, у солдат, молодых, здоровых двадцатилетних хлопцев, за спиной уже восемь, девять, а то и десять классов. Я смотрел на эту молодежь, и сердце радовалось — вот какая у нас теперь армия.

Мне показали новый танк. Я влез внутрь, и совсем юный деревенский парнишка, чьих щек еще не касалась бритва, стал объяснять мне его устройство — вот это то-то, а это для того-то. Половины слов, которые он без запинки произносил, я, получивший в свое время высшее образование, просто не понимал. А он, безусый мальчишка откуда-то из вологодской глухой деревни, не только понимал, что они означают, но так же уверенно и спокойно мог привести в действие все эти непонятные мне механизмы... Дай ему бог никогда в жизни не применять их всерьез, но, глядя на него,

я знал, что, если потребуется, он сможет сделать это так, как надо. И это не могло не радовать.

Пятнадцать лет тому назад, когда в Сталинграде приходило к нам пополнение, я главным образом щупал мускулы у новичков — выдержит или не выдержит двенадцать часов земляных работ? А сейчас? Я попал в саперный батальон, в котором был когда-то заместителем по строевой (он даже прежний свой номер сохранил!), и со стыдом убедился, что не только командиром, а простым рядовым не мог бы теперь в нем быть. Техника...

И вот я смотрел на эту молодежь и думал — а знаете ли вы, как воевали ваши отцы, ваши старшие братья? Знаете ли вы, что в Сталинграде было время, когда в державших оборону частях каждая лопата ценилась на вес золота, а о киркомотыгах и говорить уже нечего? Знаете ли вы, что в батальонах у нас бывало по тридцать, а то и по двадцать человек? Что командир четвертой роты нашего полка, Вася Конаков, вместе со своим старшиной в течение трех дней держал оборону целой роты? А когда старшина уходил на берег за обедом,— то и один. Разложит автоматы по брустверу, а по флангам — два легких пулемета Дегтярева и бегает от одного к другому, создает иллюзию полноценной роты.

Знаете ли вы обо всем этом? Нет, не знаете. Кто должен вам об этом рассказать? Ветераны полка? Где их сейчас найдешь? Писатели и художники — вот кто должен вам рассказать о ваших отцах и братьях,

о том, как они воевали в труднейшее время своей боевой жизни.

Как же мы об этом рассказываем?

Я зашел в комнату Боевой славы. Во всю стену и очень красиво изображен был боевой путь дивизии. От Сталинграда до Берлина. Кругом развешаны были фотографии тех дней — реликвии, которым нет цены. Глядишь на них и вспоминаешь — да, вот так оно и было. Вот командир дивизии на своем НП, вот командир полка, вот Василий Зайцев, прославленный снайпер, вот наша передовая... И, глядя на это, чувствуешь, как сильнее начинает биться сердце, как застревает комок в горле.

Но, простите, а что вот это вот — большое, красивое, многокрасочное, висящее посреди всех фотографий? Неужели Мамаев курган? Ну да. Конечно же это он. Вон и водонапорные баки, из-за которых велись кровопролитные бои, вон и знакомые овраги, вон вдали и город, разрушенный, мертвый. Но откуда же столько солдат, танков? И наших и немецких? Никогда их столько там не было. Ничего не пойму...

Подпись под картиной гласила: «Штурм Мамаева кургана советскими войсками 26 января 1943 года». Это была копия диорамы, выставленной сейчас в Музее Советской Армии в Москве. На основе этой диорамы предполагается соорудить в Сталинграде, на Мамаевом кургане, панораму наподобие севастопольской. И вот будут приходить экскурсанты, туристы, многочисленные делегации, и экскурсовод будет им го-

ворить, что вот такого-то числа такого-то года наши войска штурмом овладели водонапорными баками и водрузили на них красное знамя. И зрители будут смотреть на все эти лихо изображенные рукопашные схватки, на ползущие танки, на сдающихся немцев, на минные и прочие разрывы, на все то, что делает войну эффектной, удобной для живописи.

Но ведь ничего этого не было!

Я знаю, участники событий далеко не всегда бывают объективны. «Врет, как очевидец»,— говорим мы в шутку. Поэтому и мои слова могут быть подвергнуты сомнению. И все-таки, поверьте мне, на самом деле было куда менее эффектно. Просто никакого штурма не было. Была мучительная пятимесячная, стоившая многих жизней борьба за баки, но штурма не было. Просто в ночь на 26 января немцы, вокруг которых сжималось кольцо окружения, тихонько ушли с Мамаева кургана и окопались за оврагом Долгим. А через пять дней капитулировали. Вот и все.

Спрашивается: зачем нужно изображать то, чего не было? Героизм наших солдат был вовсе не в том, что они с развевающимися знаменами, с винтовками наперевес прорвались к бакам. Героизм их был в другом: они не подпустили немцев к Волге. Не хватало оружия, боеприпасов, танков, самолетов, не хватало людей — а это главное,— и все-таки непобедимая армия, покорившая всю Европу, прошедшая от Перемышля до Сталинграда, всю зиму протопталась у его стен и сдалась. Героизм был в буднях, в тяжелом солдатском

труде, в умении не терять веру и самообладание в самые тяжелые минуты, в спокойствии Васи Конакова, не переставшего воевать, когда он потерял всю свою роту, в маленьком, с привязанной к голове телефонной трубкой курносом связисте, не помню уж из какого батальона, с увлечением читавшем истрепанную «Войну и мир» в каких-нибудь пятидесяти метрах от противника.

Зачем же этот треск, эта фальшь? Для красоты? А нужна ли нам такая красота? И красота ли это?

От Микеланджело до Васи Конакова, который, возможно, никогда и не слыхал о нем... Не хватанул ли я? Но в этом, очевидно, и есть влияние, сила настоящего искусства — в умении взбудоражить, всколыхнуть тебя с головы до ног, в бесконечных ассоциациях и мыслях, которые оно вызывает...

Марчелло слегка прикоснулся к моему локтю.

— Пойдем?

Я вздрогнул.

— Пойдем.

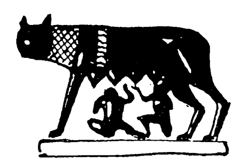
Тем же путем, перебираясь через кучи щебня и штукатурки, осторожно ступая по вделанным в мраморный пол чугунным надгробиям, мы вышли на свежий воздух.

Кругом весело, шумно. Не по-весеннему жарко светит солнце. Кричат продавцы каких-то сладостей, кричат мальчишки-газетчики, кричат друг на друга шоферы такси на стоянке — вероятно, просто так, от нечего делать, от излишка темперамента. А там, позади,

в прохладном полумраке пустынного храма, спокойный и величественный, с запущенными в бороду пальцами, сидел одинокий безмолвный пророк, которому четыре века тому назад его творец крикнул, ударив молотком по мраморному колену: «Почему же ты не говоришь?»

И опять мы с Марчелло мчимся по суматошным улицам, и опять останавливаемся, заходим в какой-нибудь храм, потом возвращаемся и опять несемся куда-то, пересекаем Тибр, взлетаем на холмы, опять спускаемся и опять несемся по улицам до следующей «бабушки».

Мы побывали с ним в Пантеоне, поклонились праху Рафаэля. На надгробии (справа и слева от него короли — Умберто I и Виктор-Эммануил II) надпись: «Здесь покоится Рафаэль: при его жизни великая мать вещей боялась быть побежденной. После его смерти она поверила и в свою». Побывали в Джаниколо, откуда открывается чудесный вид на весь город и где недалеко друг от друга стоят два памятника — мужу и жене — Джузеппе и Аните Гарибальди. Были и в Пинчио, другом парке над Римом, над Пьяцца ди Пополо. Тысячи студентов заполнили его в тот день. Это был их день — день новичков, первокурсников, только что поступивших в высшее учебное заведение. В Италии это почему-то происходит весной. Сегодня им разрешалось все. В забавных шляпах, с вытянутыми, точно клюв, козырьками, увешанные значками и жетонами, с гроздьями разноцветных детских



шариков в руках, они толпами носились по всем улицам, крича, свистя, улюлюкая, останавливая движение, всем мешая и никого не раздражая. Многие на машинах, за которыми на веревках прыгали и грохотали по мостовой пустые железные банки, канистры, бидоны. Шум, гам, крики, песни — и ни одного пьяного, ни одной драки...

Побывали мы и в Форуме, и в Капитолии, и в Колизее. Постояли перед знаменитой волчицей, не будь на свете которой, не было бы и Рима. Взбирались по мраморным ступеням самого большого и самого уродливого в мире памятника — Виктору-Эммануилу II. Трудно понять, кому пришло в голову соорудить это страшилище, это удручающее нагромождение портиков, колоннад, скульптур, барельефов, лестниц, квадриг, среди которых теряется фигура короля; кому пришло в голову всю эту безвкусицу соорудить (а сооружалась она двадцать шесть лет — с 1885 по 1911 год) в самом центре города, на площади Венеции, в двух шагах от Форума и Капитолия, на том месте, где был когда-то двухэтажный, с башней, домик Микеланджело. Пожалуй, только детям этот памятник доставляет удовольствие: как угорелые носятся они по бесчисленным лестницам и галереям, с визгом догоняя друг друга, в пылу азарта иногда чуть не сбивая с ног двух застывших в своих касках с петушиными перьями берсальеров, стоящих у могилы Неизвестного солдата.

И опять вперед, по уличкам и переулочкам, пока, изнемогающие и голодные, не устраиваемся за маленьким мраморным столиком под полосатым тентом. Едим невероятно жирный бычий хвост (а я-то думал, что там только кожа да кости), запивая его обязательным везде и всюду кьянти, и Марчелло, улыбаясь своей милой улыбкой, что-то мне рассказывает, а я ничего или почти ничего не понимаю (понял только, что вскорости семейство его должно увеличиться), и мне как-то удивительно легко и просто с ним. Мы не подымаем тостов друг за друга и за укрепление нашей дружбы — зачем, и так все ясно,— мы просто сидим вдвоем за прохладным столиком, жуем хвосты, цедим сквозь зубы кисленькое вино, и обоим нам почему-то весело — ему, вероятно, просто потому, что он молод, мне же потому, что я сижу в дешевенькой остерии в Трастевере[1], и в теле приятная усталость, и кругом яркое южное солнце, и какие-то мальчишки резвятся на фонтане, обливая друг друга водой (потом мы с ними снимемся, и они моментально сделаются серьезными), и какой-то субъект в поношенном плаще подсаживается к нам, предлагает купить путеводитель по Риму, и Марчелло отчаянно с ним торгуется (кажется, они сейчас убьют друг друга), а потом с укоризной качает головой, когда я кладу путеводитель в карман,

---

[1] Трастевере — «Затибрье», наиболее демократический район Рима, расположенный на правом берегу реки Тибр.

дав на пятьдесят лир больше, чем того хотелось Марчелло.

— Нельзя так, синьор Виктор. Ведь он грабитель...

— Ну и черт с ним, что грабитель.

— Нет, не черт...— Марчелло вдруг спохватывается.— А план он тебе дал? Нет? А ну, покажи.

Плана нет. Марчелло исчезает. Через минуту возвращается не только с планом, но и с субъектом в плаще. Они уже друзья.

Ну как не полюбить Марчелло — всегда веселого, неунывающего, настоящего сына своего города!

И сейчас, когда я разглядываю фотографии Марчелло на фоне чуть ли не всех церквей и дворцов,— а позировал он всегда охотно, с непринужденным достоинством истинного римлянина,— я мечтаю о том, что когда-нибудь, когда я опять попаду в Рим и, оторвавшись от дел, встреч и обедов, выйду на Корсо, передо мной вырастет улыбающийся черноглазый Марчелло.

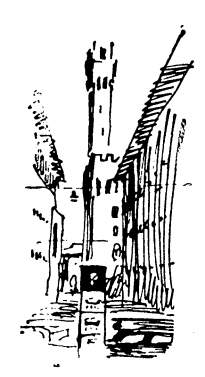
— Свободен, синьор Виктор?

— Свободен.

— Поедем?

— Поедем.

И я сяду в его машину, и мы опять заколесим по древним улицам Вечного города. Но по дороге к Сан-Паоло Фуори ле Мура или Термам Каракаллы мы обязательно на минутку заедем к нему домой и выпьем там за здоровье его жены и наследника (а может, наследницы), которому к тому времени, надеюсь, будет еще очень-очень мало лет.



С Марчелло было легко и весело, часы, проведенные в его обществе, были самыми непринужденными из всех, которые я провел в Италии. Поэтому я и называл его имя, когда меня спрашивали, кто мне больше всего понравился в Италии.

По этой же причине и на другой вопрос, какой город мне больше всего понравился, я отвечал: Флоренция. Вряд ли кого удивит этот ответ — не так уж много в мире городов, которые так притягивали бы к себе туристов и любителей искусства. Но не Палаццо Уффици и не Палаццо Питти заставили меня полюбить этот город. Просто мне удалось, как позднее в Париже, побродить по нему несколько часов в одиночестве.

За день до этого мы осматривали город по-туристски. Для этого было отведено полдня, до часу, когда, по итальянским правилам, пусть под тобой хоть земля разверзнется, а надо идти обедать. Скажу прямо — это были ужасные полдня. От девяти до часу, за четыре часа, мы должны были осмотреть то, на что по-настоящему надо потратить по меньшей мере дней десять, если не больше. За четыре часа мы осмотрели (какое чудовищное слово!) галерею Уффици, Музей Барджелло, Палаццо Веккио и Сан-Лоренцо. По плану предполагалось побывать еще в Палаццо Питти, но это было уже свыше наших сил.

Да, это были ужасные четыре часа. Мы носились по залам, боясь что-нибудь пропустить, поминутно

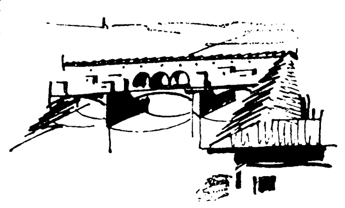
смотрели на часы, боясь куда-то опоздать, лихорадочно покупали каталоги, чтоб потом, на досуге, разобраться в том, что же мы в конце концов видели.

Вообще, на мой взгляд, музеи — страшная вещь. Их всегда «надо» посетить. В Ленинграде Эрмитаж, в Москве Третьяковскую галерею, в Париже Лувр, в Риме Ватикан, во Флоренции Уффици и т. д. и т. п. И это «надо» убивает то, ради чего ты их посещаешь. Теоретически считается, что, прежде чем пойти в музей, необходимо подготовиться к этому — почитать книги, ознакомиться с художниками; не следует осматривать музей целиком, надо выбрать отдельные залы и спокойно, не торопясь знакомиться с тем, что там выставлено. Но разве когда-нибудь так получается? Бегаешь, задыхаясь, по залам, что-то еще соображая в первых, преимущественно читая таблички в последующих и уже ничего не соображая в последних.

Нет, так искусство не поймешь. Это только для того, чтоб сказать потом: «А я вот видел настоящего Джотто...» А разве я его видел? Ничего я не видел. Стоял перед ним, и все...

Как же и где воспринимать искусство?

Это я понял на следующий день, когда бесцельно (нет, не бесцельно — в этом и была цель!) бродил по Флоренции. Прошелся по Понто-Веккио, старинному мосту через Арно, облепленному со всех сторон



лавочками и магазинами. Походив по узеньким и кривым уличкам (одна из них оказалась Виа дель Корно, та самая, которую мы так полюбили, прочитав «Повесть о бедных влюбленных»), я неожиданно для себя оказался на площади Синьории. Было солнечное, прозрачное утро. Суровая и воинственная, такая знакомая по бесчисленным изображениям, четко вырисовывалась на голубом небе квадратная башня Палаццо Веккио. Увешанная флагами по случаю пасхи, она казалась сейчас не такой воинственной и неприступной, как обычно. Вечером я увидел ее другой. Снизу доверху освещенная неверным, колеблющимся светом мигающих плошек, поставленных на окнах и карнизах, она приобрела какой-то сказочный средневековый вид. По площади проходили отряды чего-то вроде гвардии с развевающимися знаменами в пестрых полосатых костюмах времен расцвета и могущества Флоренции, и от этого дворец-крепость казался еще сказочнее, еще средневековее. Но сейчас, освещенный солнцем, расцвеченный флагами, он как-то повеселел и подобрел. Весело было и вокруг. Еще не заполнили площадь туристы — было совсем рано,— пустовали кафе, но уже расставляли свои столики продавцы открыток, уже появились первые гиды, которых к полудню будет не меньше, чем туристов.

Я присел на ступени лоджии Деи Ланци, громадной аркады, замыкающей одну из сторон площади. Чуть правее, на серо-коричневом фоне гранитных стен Палаццо Веккио, сиял белым мрамором с желтоватыми

потеками микеланджеловский Давид. Правее его — Геркулес Бандинелли, немного дальше, у самого угла дворца, фонтан — могучий Нептун Амманати в окружении бронзовых коней и наяд, а за моей спиной, в тени лоджии,— прославленный Персей Бенвенутто Челлини, «Похищение сабинянок» Джованни ди Болонья.

И все эти творения замечательных мастеров жили не в тесных, замкнутых пространствах музейных залов, а под открытым небом, озаряемые солнцем, обвеваемые ветром, свободные и вольные, среди людей, для которых они созданы.

И именно здесь, на ступенях орканьевской лоджии, я понял всю красоту Давида. Нет, тысячу раз неправ Вёльфлин, писавший в своем «Классическом искусстве», что скульптура эта «изумительна каждой деталью, поражает упругостью тела, но, говоря откровенно, безобразна». Да, голова у этого юноши, может быть, несколько и великовата, и кисти рук тоже, но сколько в этой мальчишеской несоразмерности красоты, изящества, грации!

У нас почему-то сейчас забыто это слово — грация, грациозность,— но ведь без этого слова просто немыслимо говорить о Микеланджело. В его фигурах — и в скульптуре и в живописи — мощь, движение, страсть, мысль; но сколько в их позах, поворотах, изгибах, сколько в них изящества и грации! Я не говорю уже

об Адаме или Рабах Сикстинской капеллы или о Джулиано и Лоренцо Медичи, но взгляните на мраморных Пленников, предназначавшихся для надгробия папы Юлия II, и вы поймете, что не было на земле художника, умевшего показать силу не в силе покоряющей, побеждающей, а в силе могучей, но не грубой, не напряженной, спокойной, хотя слово это как будто, на первый взгляд, и не вяжется с Микеланджело. Таков и Давид. Нет, он не изображен здесь перед боем, как это многие считают. Я никогда не метал камня из пращи и не знаю, как ее держат до и после боя, но, глядя на бесконечно спокойную фигуру Давида, на его слегка задумчивое прекрасное лицо, я не обнаружил в нем ни напряжения бойца, готовящегося к схватке, ни торжества победителя. Если он и победитель, то не ликующий. А может, это и не Давид? Может, это просто юноша, флорентийский юноша XVI века...

Я сидел на ступенях и смотрел на Давида, и меня нисколько не раздражало, что у ног его суетятся и бегают люди, не возмущал и парень, бесцеремонно развалившийся и дремавший у постамента Персея. Все это так и должно быть. Не специально ходить и смотреть на Давида, Персея или «Похищение сабинянок», а жить вместе с ними и, может быть, иногда даже не замечать. И главное, чтоб не было возле тебя экскурсовода, в руках — путеводителя, а рядом с тобой людей, записывающих что-то в блокноты и пришедших сюда только потому, что так положено, иначе нельзя...

Площадь постепенно оживлялась, наполнялась

людьми. Как всякий чужестранец, впервые попавший на нее, я конечно же думал о том, что вот по ней, по этой самой площади, почти такой же, какая она сейчас, ходили когда-то Данте, Савонарола, Леонардо, Микеланджело (на стене Палаццо Веккио показывают высеченный в граните его профиль, который он якобы сам высек, отвернувшись от стены и держа за спиной молоток и резец), проезжали в каретах грозные Медичи, а позднее бродил одинокий Достоевский (здесь, во Флоренции, он написал своего «Идиота»), гулял в перерывах между работой над «Пиковой дамой» Чайковский.

Вспоминалось мне и другое — более близкое и в то же время для меня далекое. Наши жаркие споры в заставленных досками институтских чертежных. Было это давно, четверть века тому назад, когда в архитектуре безраздельно господствовал конструктивизм — стиль, искавший красоту в полезности, экономичности и рациональности. Мы были молоды, полны веры в себя, в конструктивизм и его бога — Ле Корбюзье. И по поводу всего спорили — с азартом, пылом, неукротимостью. Особенно жарко — о синтезе искусств, о месте, которое должны в архитектуре занимать живопись и скульптура. Не найдя решения, написали письмо самому Ле Корбюзье. И получили ответ, подробный ответ на шести страницах. Они хранятся у меня до сих пор, эти странички, приведшие нас тогда в неописуемый, бурный восторг.

Ле Корбюзье писал:



«Я не признаю ни скульптуру, ни живопись как украшение. Я допускаю, что и то и другое может вызвать у зрителя глубокие эмоции, подобно тому, как действуют на нас музыка и театр,— все зависит от качества произведения,— но я определенно против украшения. С другой стороны, рассматривая архитектурное произведение и, главным образом, площадку, на которой оно воздвигнуто, видишь, что некоторые места самого здания и вокруг него являются определенными интенсивными математическими местами, которые оказываются как бы ключом к пропорциям произведения и его окружения. Это места наивысшей интенсивности, и именно в этих местах может осуществиться определенная цель архитектора — то ли в виде бассейна, то ли глыбы камня, то ли статуи. Можно сказать, что в этом месте соединены все условия, чтоб была произнесена речь, речь художника, пластическая речь».

Да, Ле Корбюзье прав, когда говорит о местах, созданных как бы для произнесения речи. Элементарнейший пример — Александровская колонна на Дворцовой площади в Ленинграде. Не будь ее, площадь распалась бы. Это безусловно верное, но в общем довольно простое, само собой напрашивающееся решение. Принцип организации пространства на площади Синьории куда сложнее. И принцип этот если и не опровергает, то, во всяком случае, значительно расши-

ряет положения Ле Корбюзье. Здесь нет определенного узла, созданного для произнесения речи, здесь вся площадь, все ее дворцы, лоджии, фонтаны и как будто случайно (а в этой случайности и таится великая закономерность) расставленные скульптуры, вся она — речь, песня. И то, что скульптура так прочно вошла в архитектурный ансамбль (то есть является составной частью его и в то же время воспринимается как нечто самостоятельное),— это и делает эту площадь прекраснейшей в мире, если не считать афинского Акрополя.

И все-таки даже эта площадь бледнеет, если говорить о синтезе двух искусств, перед самым совершенным произведением в этой области — капеллой Медичи в церкви Сан-Лоренцо. Здесь в одном лице слились великий архитектор и великий скульптор. И, вероятно, именно поэтому даже такие рискованные приемы, как несоразмерность и неустойчивость фигур «Дня», «Ночи», «Утра» и «Вечера», которые, кажется, вот-вот скатятся с крышек саркофагов, и то, что головы их бесцеремонно пересекают карниз стены,— даже это не может нарушить общую гармонию, а может быть, наоборот, и создает ее. Микеланджело не суждено было завершить это свое творение — капелла обязана своим теперешним лицом Вазари,— и, возможно, доведи он ее собственноручно до конца [1], она стала бы еще пре-

---

[1] В «Письмах» Микеланджело упоминается о четырех фигурах рек, которые должны были лежать на земле и тем самым, очевидно, остановили бы скольжение фигур на саркофагах.

краснее и законченнее. Но и в нынешнем своем виде капелла Медичи являет собой одно из величайших святилищ искусства, бесконечно радостного по совершенству своих форм и бесконечно грустного по мысли — ведь это памятник не двум великим полководцам, Лоренцо и Джулиано Медичи, какими они, увы, никогда не были, это памятник горю и страданию истерзанной Италии, страшным годам тирании Медичи, о которых великий художник сказал в четверостишии, написанном от имени «Ночи»:

Отрадно спать, отрадней камнем быть
О, в этот век, преступный и постыдный,
Не жить, не чувствовать — удел завидный.
Прошу, молчи, не смей меня будить.

В Сан-Лоренцо Микеланджело — архитектор и скульптор — создал нечто совершенное. Вряд ли можно найти пример более полного слияния архитектуры и скульптуры. Тем поразительнее Сикстинская капелла, где Микеланджело убил архитектуру.

Трудно понять, что руководило художником, когда он приступил к росписи потолка. Известно, что он долго отказывался от этой работы. «Я не живописец, я скульптор»,— говорил он. И все-таки, вероятно благодаря полной свободе, которую предоставил ему в этой работе Юлий II, он принялся за этот титанический труд.

Не существует в истории искусств произведения, столь трудного для восприятия. Смотреть его — мука.

От обилия повернутых в разные стороны фигур и картин мельтешит в глазах, невыносимо болит шея, так как все время приходится задирать голову кверху. Но муки эти стократ искупаются тем наслаждением, которое ты, преодолев их, испытываешь.

Но какой ценой это достигнуто? Ценой сознательного умерщвления архитектуры.

В своем письме Ле Корбюзье писал:

«Вы обладаете в Москве наиболее прекрасной монументальной живописью, о какой можно только мечтать. Это великие иконы XI, XII, XIII и XIV веков. Они независимы от архитектуры, они заключают эмоциональную энергию в самих себе и могут быть приставлены к стене любой эпохи. Как чистые произведения искусства они живут сами по себе и сами собою.

Вы имеете в Москве, в кремлевских церквах (и в других местах СССР), великолепные византийские фрески. В редких случаях они не вредят архитектуре. Я не уверен, что они прибавляют что-нибудь к ней. В этом и таится драма фрески. Я допускаю фреску не для того, чтобы увеличить ценность стены, а наоборот, как средство бурного ее уничтожения, отнятия у нее всякого представления о стабильности, весе и т. д.

Я признаю «Страшный суд» Микеланджело в Сикстинской капелле, уничтожающий стену, признаю и потолок в той же капелле, уничтожающий сам себя.

Дилемма проста — если хотели сохранить форму стены Сикстинской капеллы и форму ее потолка, не надо было расписывать их фресками. Расписав же,

у них отняли навсегда их архитектурное происхождение и сделали из них нечто другое, что тоже допустимо.

Для чего же расписали стены капеллы, убив тем самым архитектуру? Преследовалась другая цель — рассказать проходящей толпе историю, написать книгу языком живописи.

Я с трудом допускаю, что эти истории можно рассказать языком станковой живописи, и, напротив, я убежден, что стены зданий могут, принося себя в жертву, принять на себя фрески, если эти последние представляют существенный интерес с точки зрения рассказываемой истории. Надо только, чтобы они были хорошо написаны».

Да, глядя на потолок и стены Сикстинской капеллы, нам нисколько не жаль архитектуры. Истории, рассказанные Микеланджело, оказались сильнее ее.

Почему?

Не только потому, что они «хорошо» написаны, а потому, что они написаны кровью сердца. Это невеселые истории. И истории не только о сотворении мира и предках Христа начиная с сыновей Ноя. Вглядываясь в печальные, задумчивые, настороженные фигуры пророков и сивилл, вглядываясь в жанровые картинки люмьеров над окнами, которым приданы библейские имена, но для которых до сих пор тщетно ищут в библии соответствующих текстов, мы читаем другую историю. Историю замученной, залитой кровью страны, от которой четыре года художник фактически был

оторван. Четыре года он пролежал с кистью в руках на высоких лесах. Но ни на минуту не забывал он о народе, о стране, раздираемой войнами и междоусобицами. Потому так невеселы его сивиллы и пророки — они думают о том же. И о том, что это-то и есть жизнь. Тяжелая, жестокая, безрадостная. Об этом и рассказал Микеланджело.

Но не только об этом. Если б только об этом, мы вправе были бы отнести его гениальное произведение к разряду наиболее пессимистических в мировом искусстве. Но это не так. В творчестве Микеланджело нет пессимизма. В нем трагедия. Человек и жизнь... Рожденный для жизни Адам и нагие юноши вокруг него (нет, не рабы, тысячу раз не рабы!) — это хвала человеку, прекрасному, сильному, гордому, перед которым открыто всё, все пути!

И, сидя с задранной головой на скамейке, забыв о том, что у тебя невыносимо болит шея, ты прощаешь художнику смертельный удар, нанесенный им архитектуре, прощаешь и то, что рядом, на алтарной стене, уже на закате своей жизни, он позволил себе изобразить «Страшный суд» — фреску, которая не может существовать по соседству с плафоном. Все это ты прощаешь ему, потому что перед тобой творение великого художника, гражданина, гуманиста, который в жизни бывал и робок, и завистлив, но в искусстве, как и должно художнику, всегда был смел, правдив и непоколебим.

Я прошу прощения у читателя. Я несколько откло-

нился в сторону, заговорил о том, о чем гораздо полнее и с большим знанием дела написано в обширной литературе об итальянском Возрождении. Но что поделаешь, если, увидев раз Микеланджело, нельзя о нем не говорить. А заговорив, трудно остановиться. К этому принуждает его искусство.

Мысли мои об искусстве были прерваны маленьким сухоньким старичком, который подошел ко мне и вежливо поздоровался.

— Я позавчера присутствовал на вашей лекции в Палаццо Парте Гвельфе,— сказал он на ломаном французском языке.— Мне было очень интересно. И сейчас мне хочется поблагодарить вас и, если разрешите, показать достопримечательности нашего города. Это моя специальность. Денег я с вас не возьму.

Я был тронут и в то же время несколько раздосадован — мне вовсе не хотелось знакомиться сейчас с достопримечательностями города. Но отказать было неловко.

С профессиональной бойкостью, засыпая меня именами и годами, старик стал водить меня от статуи к статуе, отнюдь не избегая в своем рассказе пикантных подробностей, касающихся их авторов. Сразу стало скучно.

Обошли всю площадь. Старик ринулся было в открытые двери Палаццо Веккио, но я вовремя удержал его за локоть.

— А не выпить ли нам по стаканчику винца?

Старик даже не попытался сопротивляться.

— Только не здесь, только не здесь...— сразу как-то оживился он.— С нас здесь шкуру спустят. Я знаю где.

Он повлек меня куда-то, и через несколько минут мы оказались на площади у Сан-Лоренцо. За столиком, который мы заняли в узенькой, похожей на щель, траттории, зажатой между двумя лавчонками, торгующими сандалиями, сразу же появилось сначала два, потом четыре, а потом бог его знает сколько человек. Пришлось сдвинуть несколько столиков.

Старик не умолкал ни на секунду.

— Знакомьтесь. Это мой друг, замечательный русский писатель. Скритторе совьетико. Ты читал его книги? Нет? И тебе не стыдно? Обязательно прочти, обязательно. Ну разве так можно?

Старик, как потом выяснилось, не прочел ни одной строчки из наших писателей — ни старых, ни новых, но сейчас он говорил с такой убежденностью и азартом, что на первых порах я даже поверил. Поверили и устыдились своей неосведомленности и остальные — вытащили блокноты, и начались обмен адресами и запись русских книг, которые надо прочесть.

Почти сразу, как и везде в Италии, разговор с литературы перескочил на что-то другое. На что, я никак не мог уловить, так как ничего не понимал, а собеседники мои, с милой итальянской непосредственностью, увлекшись спором, совсем забыли обо мне. Только стакан мой не забывали наполнять, и время от времени

кто-нибудь хлопал меня по плечу и весело подмигивал:

— Каро! Каро руссо!

И опять мне было легко и весело. Я сидел, чуть хмельной, смотрел сквозь открытую дверь на ободранный фасад Сан-Лоренцо (у папы не хватило денег, и так эта церковь и стоит четыреста лет без фасада), и все как-то не верилось, что я сижу вот здесь, а если захочу, встану, пересеку залитую солнцем площадь и окажусь перед мраморной мадонной с младенцем, который, оседлав колено матери, повернулся и тянется к ее груди. Сон или не сон?

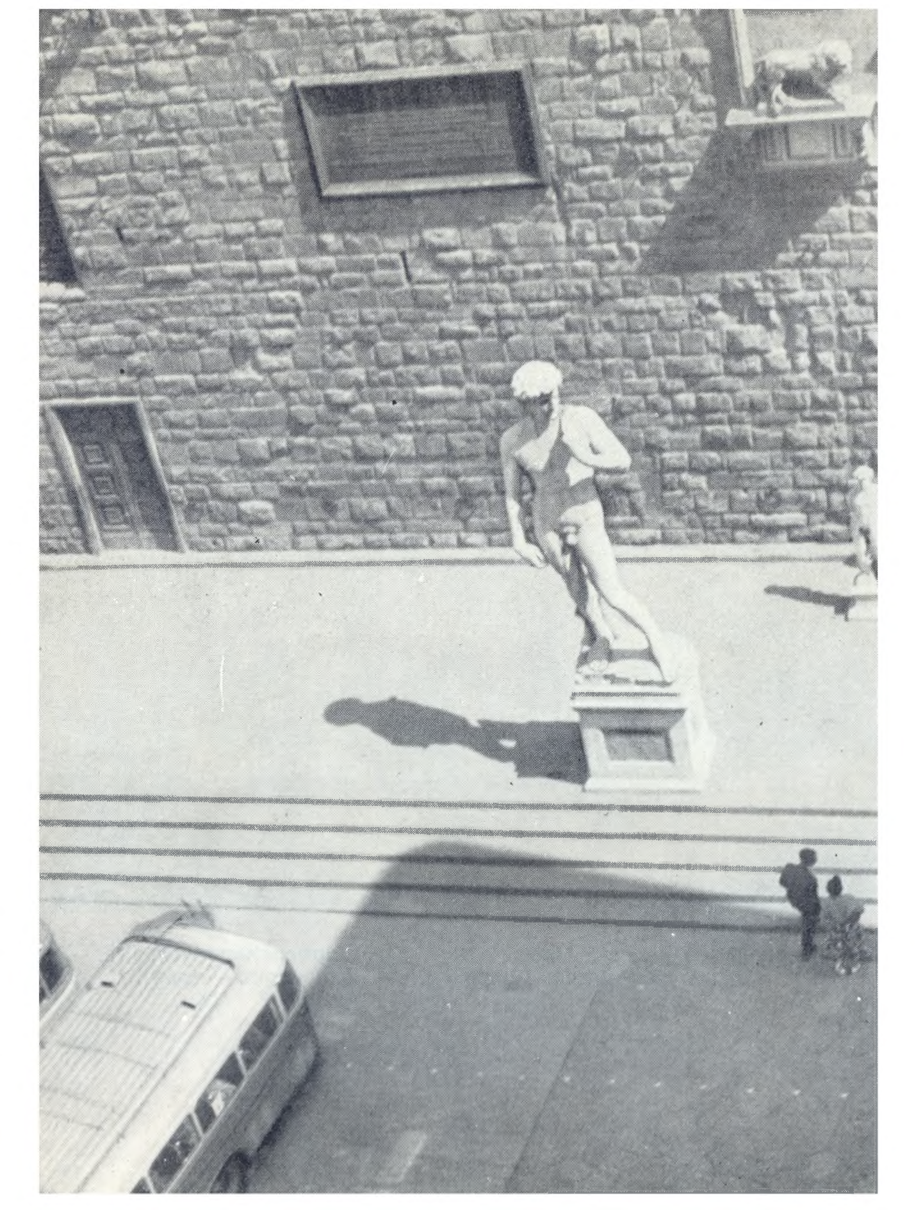
Все вдруг как-то хором встали и заторопились. Встал и я. Но это было еще не все. Собеседники мои, в основном владельцы крохотных лавчонок, которыми впритирку друг к другу окружена площадь Сан-Лоренцо, заявили, что у каждого из них я должен что-нибудь купить.

— Не бойтесь, они сделают скидку,— успокоил меня, заговорщицки подмигивая, мой старик.— Для русского обязательно...

Я мерил туфли, сандалии, пиджаки, брюки, плащи. Вокруг меня кипели страсти. Чьи-то руки натягивали, застегивали и обдергивали на мне пиджаки, потом срывали, бросали на прилавок, натягивали другие. Меня заставляли приседать, наклоняться, вытягивать руки, крутиться на одном месте, а они, мои новые друзья, толкаясь и ни на минуту не умолкая, отходили на несколько шагов, наклоняли головы, щури-

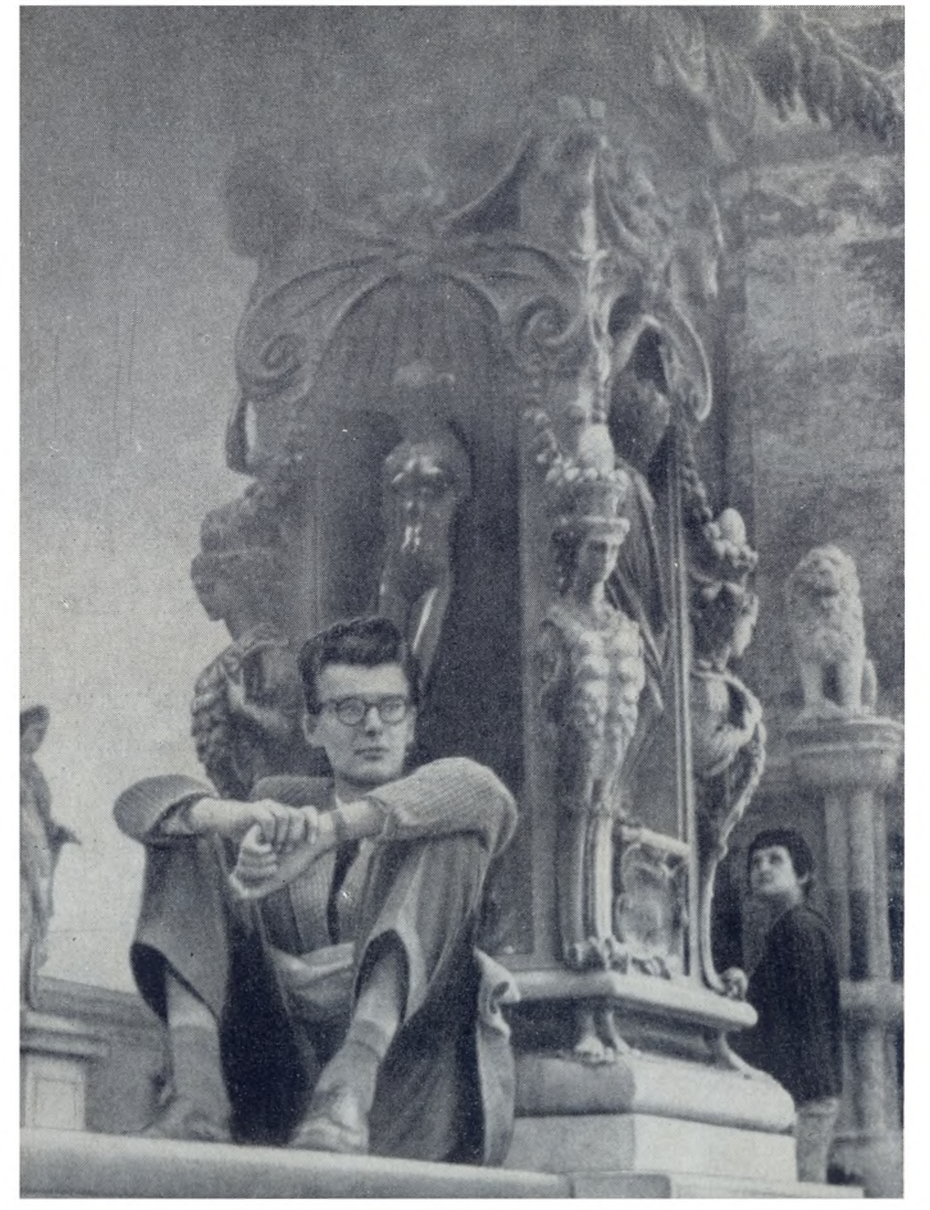


Музей Пушкина в Москве? Нет, Флоренция, Национальный музей «Барджелло». Впрочем, вся Флоренция — музей.





Мраморная копия микеланджеловского Давида на площади Синьории. А за его спиной на гранитной стене Палаццо-Веккио, по преданию, Микеланджело высек свой собственный профиль.





Та же площадь...



Церковь Сан-Лоренцо, в которой находятся прославленные надгробия Лоренцо и Джулиано Медичи работы Микеланджело. А справа — виа дель Корно (читай Васко Пратолини «Повесть о бедных влюбленных»).





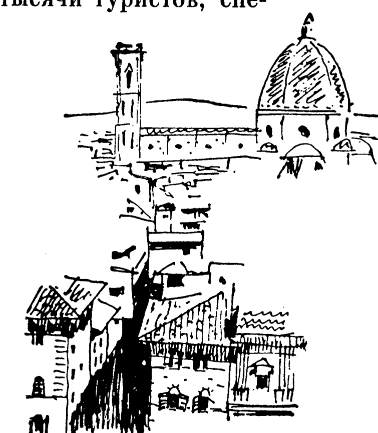
лись, подносили к глазу кулак, как это делают, рассматривая картину, и с азартом плевались или хором кричали: «Манифико!» («Великолепно!»).

Ни одну из покупок, даже самых мелких, взять в руки мне не позволили.

Вечером я обнаружил их все аккуратно сложенными на кровати в моем номере.

Кончилось все тем, что мы опять хлопали друг друга по плечам и спинам и долго трясли друг другу руки. Слегка подвыпивший и возбудившийся старик старался затянуть меня к себе домой — «совсем близко отсюда, три квартала, а какая внучка у меня...», — но, что поделаешь, моя «увольнительная» кончилась, пора было приступать к работе.

Все это происходило в страстную субботу, день, когда во Флоренцию съезжаются тысячи туристов, специально чтобы присутствовать на «Скоппио дель Карро» («Сожжение колесницы»), традиционном пасхальном празднестве.



Еще днем, проходя мимо Дуомо, купол и кампанилла которого господствуют над всем городом и запечатлены на тысячах открыток, мы видели, как снимают троллейбусные провода и воздвигают деревянные трибуны у входа в собор.

Вечером мы сидели на одной из них. Попасть туда оказалось делом нелегким. Все прилегающие к площади улицы на протяжении нескольких кварталов забиты были плотной, плечо к плечу, кричащей, веселящейся, мерно раскачивающейся толпой.

— Берегите карманы и часы, — шепнул мне Джорджо, один из наших флорентийских друзей, очень славный парень.— Сегодня во Флоренцию съехались все воры Италии. А они свое дело знают.

Не менее получаса пробивались мы сквозь сплошную массу людей. Протиснулись, размахивая пригласительными билетами, сквозь два кордона полиции и один солдатский, взобрались на заполненную до предела трибуну и устроились в одном из последних рядов у подножия башни Джотто.

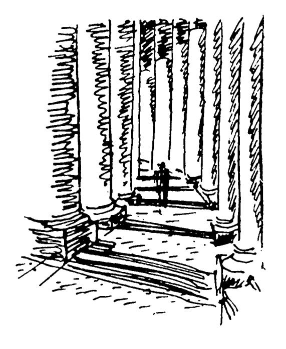
Перед нами была оцепленная солдатами площадь с черно-зелено-белым Баптистерием — гордостью Флоренции — посредине. «Мой милый Сан-Джованни» — прозвал эту крестильную церковь, древнейшую в городе, Данте. Тончайшие рельефы Пизано и Гиберти украшают ее бронзовые двери. Сейчас они были раскрыты, и перед центральным входом возвышалось какое-то странное сооружение, нечто среднее между повозкой и храмом, которое и было центром сегодняшнего праздника. От него внутрь собора тянулась по воздуху проволока, и по ней ровно в полночь должен был пролететь механический голубь, зажечь ракеты, вставленные со всех сторон в «карро», и вернуться обратно. Если голубиное путешествие пройдет

благополучно, это — хорошее предзнаменование, если нет — жди каких-нибудь неприятностей.

Как выполнил свою миссию наш голубь, я так и не понял. Увидеть его нам не удалось. Мы только услышали крики: «Коломбо! Коломбо!» («Голубь! Голубь!») — и увидели, как застреляла во все стороны нелепая «карро». Стреляла она недолго и довольно вяло, а потом вдруг вспыхнула. Стоявшие вокруг пожарные бросились тушить. Толпа была в восторге. Тщетно пытались солдаты, взявшись за руки, удержать ее — она прорвалась, захлестнула площадь и с чисто итальянской экспансивностью стала помогать пожарным тушить пылающую «карро» под мощный гул пасхальных колоколов.

Напрасно пытался я узнать потом, насколько удачно справился голубь со своей задачей и что нас ждет — счастье или горе, никого это уже не интересовало. «Скоппио дель Карро», весь этот, в общем, довольно бедный фейерверк, был просто предлогом, чтобы собраться на площади, потолкаться, пошутить, завести новые знакомства. Религиозного в этом не было ничего. И это напомнило мне русскую заутреню, где тоже в толпе много молодежи, пришедшей просто так — развлечься и повеселиться в теплую апрельскую ночь.

Впрочем, не надо преуменьшать. Веселье весельем — итальянцы народ веселый,— но религия религией. В Италии церковь еще очень сильна не только на сельскохозяйственном юге, но и на промышленном



севере. Крохотное государство Ватикан, занимающее площадь в сорок четыре гектара и охраняемое двумя сотнями крепких молодцов, одетых в шлемы и панцири времен Юлия II, во много раз сильнее и влиятельнее иного государства, вооруженного пушками и танками. Небольшие мраморные и бронзовые таблички у роскошных подъездов с надписью «Банко ди Санто-Спирито» («Банк святого духа»), которые мы видели во всех городах, говорят об этом с достаточной убедительностью. Газеты, журналы, радио, кино (папа понял всю силу их воздействия) — все брошено на то, чтобы удержать свою власть в мире, далеко не таком покорном, как когда-то. Содействует этому и партия крупного капитала — христианско-демократическая, которая пока стоит у власти.

На улицах итальянских городов, особенно Рима, поражает обилие служителей церкви. Особенно монахов. В черных, коричневых, белых сутанах, подпоясанные широкими поясами или простой веревкой, в ботинках или сандалиях на босу ногу, молодые и старые, толстые и поджарые — все эти францисканцы, доминиканцы, иезуиты, паулины, бенедиктинцы, картезианцы, бернардинцы, кармелиты, цистерцианцы, камальдулы, марианы, премонстранты, госпитальеры св. Антония и св. Иоанна, августинские братья, ми-

нимы, капуцины, реколлекты (а всего в Италии свыше восьмидесяти орденов), все эти монахи всех цветов кожи (я видел среди них много негров, китайцев и японцев) заполняют улицы, трамваи, автобусы, правят машинами, несутся стремглав на мотороллерах. Особенно забавно, когда на таком мотороллере восседает монашенка. В громадном, похожем на парус, накрахмаленном головном уборе, она лихо обгоняет мужчин и так же лихо тормозит на перекрестках, упершись ногами в землю. В здоровом теле здоровый дух — так, что ли?

Кстати, о спорте. Он тоже взят папой на вооружение.

Как-то, улучив свободную минуту, мы отправились посмотреть Форо Олимпико, в прошлом Форо Муссолини, грандиозный спортивный комплекс, сооруженный для предполагавшейся в Риме, но не состоявшейся из-за войны олимпиады. О нем еще будет речь впереди, сейчас же — не о нем, а о некоем молодом пловце. Мы невольно залюбовались им, глядя, как он четко и красиво прыгал с вышки в воду. Ласточкой, сальто, со стойки на руках, стройный, хорошо сложенный, мускулистый, он врезался в воду бассейна, почти не подымая брызг. Один раз мы даже зааплодировали, и он, вылезая из бассейна, улыбнулся и, слегка смутившись, поклонился нам.



Потом мы зашли в ресторанчик перекусить. Через несколько минут быстрым, легким шагом зашел в ресторан и наш прыгун. На нем была светлая коротенькая замшевая курточка, в руках спортивный чемоданчик. Не знаю почему — может, потому, что мы ему похлопали,— он подсел к нам, заказал ризотту. У него было очень приятное, открытое, интеллигентное лицо с высоким лбом, живыми глазами и тонкими ироническими губами. Он прекрасно, почти без всякого акцента, говорил по-французски, что итальянцам далеко не всегда дается. Вообще впечатление производил он очень приятное — вежливый, сдержанный, внимательный. Каково же было мое удивление, когда из дальнейшего разговора выяснилось, что он принадлежит к ордену иезуитов.

Я не верил своим глазам. Вот этот вот молодой, здоровый, красивый парень — иезуит? Я задал несколько вопросов, но он, очевидно, узнав, что я русский (так, во всяком случае, мне кажется), от ответа уклонился.

— У нас настолько различное с вами мировоззрение,— мягко улыбнувшись, сказал он,— что за те пятнадцать — двадцать минут, которые мы проведем вместе за этим столиком, вряд ли нам удастся до чего-нибудь договориться. Давайте лучше поговорим о спорте.

Оказалось, что, кроме плавания и прыжков в воду, он занимается еще греблей, гимнастикой, а зимой

лыжным спортом. Собирался выступать даже в Кортино д'Ампеццо, но не добился нужных результатов. Незаметно я перевел разговор на литературу, не сообщив ему, правда, своей профессии, и был поражен, узнав, что он читал Толстого, Тургенева, Достоевского — то, что было переведено на итальянский язык; читал Блока, много слышал о Есенине. Из советской прозы читал Эренбурга (на французском языке, старые его вещи), первые две части «Тихого Дона», который ему не очень понравился («Дело, очевидно, в переводе»,— деликатно сказал он), и «Волоколамское шоссе» Бека.

Вопросов он почти не задавал, спрашивал преимущественно я. Но перед тем, как нам расстаться, он все-таки спросил меня, правда ли, что где-то под Москвой есть монастырь и духовная семинария. Я сказал, что правда, и не только под Москвой, но, например, и в Киеве есть монастырь, даже, кажется, два — мужской и женский,— и духовная семинария.

— Очень интересно,— сказал он, вставая и протягивая мне руку.— Если у вас будет свободное время и желание, я к вашим услугам. Вот мой телефон. Был бы рад с вами поговорить не только на спортивные и литературные темы. Думаю, что они нашлись бы...

Мы пожали друг другу руки — ладонь у него была жесткая, мозолистая, очевидно от весел и турника,— и, взяв свой чемоданчик, он тем же быстрым, спортивным шагом направился к двери.

Это был первый и пока последний иезуит, с которым мне пришлось разговаривать.

Так вот они, оказывается, какие, члены этого важнейшего и страшнейшего католического ордена, учрежденного более четырех столетий тому назад Игнатием Лойолой, призвавшим их на борьбу против «адских чудовищ и порождений сатаны», на служение богу, на свершение подвигов, «ad majorem Dei gloriam» («к вящей славе божьей»). Вот, значит, они какие, члены «общества Иисуса», воля, сила и совесть которых переданы в руки их генерала, «черного папы», на которого они должны смотреть, «как на самого Христа, должны повиноваться ему, как труп, который можно переворачивать во всех направлениях, как палка, которая повинуется всякому движению, как шар из воска, который можно видоизменять, растягивать во всех направлениях».

Четыреста с лишним лет существует этот орден, возведший в добродетель взаимный шпионаж, лицемерие, подозрительность, ханжество, подобострастие, разрешающий своим членам все — донос, клятвопреступление, лжесвидетельство,— все, вплоть до «смертного греха», если прикажет старший.

Иезуит отрекается от всего — от своих родителей, от собственных мыслей, желаний, воли, отрекается от имущества, отрекается от родины. Беспрекословное подчинение начальству. Ни одного письма без его разрешения. Ни одного сочинения без иезуитской цензуры. Все помыслы и искушения должны быть рас-

крыты перед духовником. Обо всем подмеченном у собрата по ордену немедленно докладывать начальству. Во всем суровое обезличение. Все индивидуальные стремления и силы подчинены интересам целого. Цель оправдывает средства.

Так гласят правила ордена, которые не помешали, а может, именно и помогли ему сосредоточить в своих руках несметные богатства и основать во всех странах банкирские конторы и торговые дома.

Четыреста с лишним лет существует этот орден, миссионеры которого проникли во все страны света. Его поддерживали и возвеличивали папы, потом запрещали и разгоняли, снова разрешали, опять поддерживали. Сотни учебных коллегий во всех странах развращали молодые головы и сердца юношей, развивая в них честолюбие и тщеславие, убивая товарищескую солидарность взаимными доносами и слежкой, превращая их в жестокое, немое орудие. И все это сохранилось до сих пор. Около двадцати восьми тысяч иезуитов рассеяно сейчас по всем концам света. В Европе, Азии, Африке — всюду расставлены их сети лжи, обмана и лютой ненависти ко всему передовому, прогрессивному, свободомыслящему. Трудно поверить, но это так...

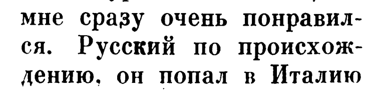
Я глядел из окна ресторана на быстро удаляющуюся высокую и такую ладную фигуру только что сидевшего здесь пловца и задавал себе вопрос: неужели и он, этот двадцатитрехлетний, так мило улыбав-

шийся молодой человек в замшевой курточке, а вовсе не в черной сутане (потом я узнал, что иезуитам разрешается ходить в любом одеянии и даже, если хотят, не посещать богослужения), неужели и он труп, палка, восковой шар? Страшно подумать. А если да, то что его толкнуло на это? И много ли таких, как он? Откуда они берутся? И кто он сам? К какой из степеней ордена относится? Выжидающих (indifferentes), испытуемых (novitii) или уже схоластиков, давших обет бедности, целомудрия и послушания? Коадъютором он еще не может быть, ему нет тридцати лет, тем более профессом — тем, кто достиг степени посвящения и дал, кроме обычных трех монашеских обетов, еще и четвертый — особого повиновения папе.

У меня был его телефон. Я мог ему позвонить. И тогда, возможно, я многое узнал бы. А если и не многое, то хотя бы кое-что. Но не позвонил — на следующий день я уехал в Неаполь.

Неаполь, Помпея, Капри... Это была уже увеселительная поездка. В награду, так сказать, за труды.

Поехали мы туда вместе с Юрием Крайским. Познакомились мы с ним за день до этого в римском отделении общества «Италия — СССР». Высокий, сутуловатый, в очках, спокойный и уравновешенный, он мне сразу очень понравился. Русский по происхождению, он попал в Италию





еще ребенком, потом объездил полсвета, жил некоторое время в Бразилии, затем вернулся назад, в Италию. Член Итальянской компартии и общества «Италия — СССР», журналист, пишет по вопросам театра, кино. Когда ему предложили составить мне компанию для поездки в Неаполь (академик и переводчик уехали в Советский Союз, я остался один), он охотно согласился. И я был очень рад его обществу, нам не скучно было друг с другом.

Выехали мы после полудня. За час сорок пять минут, покрыв без остановки расстояние в двести двадцать километров, пятивагонный электропоезд «рапидо» доставил нас в Неаполь. Поезда в Италии ходят быстро и хорошо. Для меня даже слишком быстро. Почти всю дорогу я метался от окна к окну, пытаясь сфотографировать живописно громоздившиеся по уступам скал городишки и селения, но ничего путного из этого не получилось. На обратном пути я уже и не пытался.

В три мы были в Неаполе. Кто не мечтал побывать в этом городе песен, синего моря и жаркого солнца, городе рыбаков, торгующих на набережной «фрутти ди маре» — плодами моря: всевозможными креветками, каракатицами и прочей морской живностью, городе знаменитого «дольче фарниенте» («бла-

женного ничегонеделания»),— уже давно, к сожалению, не блаженного: в Италии сейчас более двух миллионов безработных,— в городе шумном, веселом, крикливом, удивительно грязном и неправдоподобно красивом? В нем бы пожить, погулять, потолкаться по рынкам, познакомиться с героями фильмов Эдуардо де Филиппо. Но в нашем распоряжении два дня, всего лишь два дня. А тут еще Помпея, Капри... О Сорренто и не мечтай.

Первый день, вернее полдня, мы просто бродили по городу. Прошлись сначала по центру, потом попали на грязные, пыльные окраины, после которых пришлось немедленно прибегнуть к услугам чистильщика башмаков. Занятие это мне очень понравилось — сидишь на величественном золоченом троне с львиноголовыми подлокотниками и слушаешь неаполитанского «айсора» — очередную историю о делах местного синдика, фашиствующего градоначальника Лауро, или захватывающий рассказ о таинственном убийстве на Виа Карачиоло. Потом, усевшись в маленький дребезжащий трамвайчик, мы поехали на эту самую Виа Карачиоло. Широкая, с тенистым бульваром, залитая огнями, она плавно изгибается вдоль залива. За нею Ривьера ди Чиана — бесчисленные отели, один роскошнее и дороже другого, мигающие рекламы (в Риме это запрещено, как у нас гудки, чтобы не раздражать), залитые светом витрины, вереницы лимузинов, молча застывших у мраморных подъездов. Все это производит сильное впечатление. Богатство,

роскошь, красота... От витрин оторваться невозможно. Сделаны они с таким вкусом и умением, что просто обидно за художников, которые этим занимаются.

Витрины не загромождены товаром, но вещи на них разложены и преподнесены так, что тут же, немедленно, хочется войти и купить. Останавливают обычно только маленькие этикетки, прикрепленные к этим вещам: на них столько нулей, что ноги сами несут тебя от этой витрины.

Реклама. Броская, лаконичная, остроумная, запоминающаяся. На дорогах, на крышах, на стенах. Покрышки Пирелли, кондитерские изделия Мотто, Чинзано (настойки, ликеры), пишущие машинки Оливетти, и везде, от предгорий Альп до скалистых берегов крохотной Пантеллерии: «Шелл! Шелл!» — ярко-желтый призыв заправить машину именно этим бензином. И все это кричит, мигает, требует себя запомнить и — запоминается. Надоедает, раздражает, но запоминается. И в этом есть логика. Конкуренция. Покупайте у Мотто, а не у такого-то, покупайте у Пирелли, а не там-то... Ясно и просто.

Но бог с ней, с рекламой. Это не самое интересное, не самое характерное для Италии.

Когда я вернулся домой, не было человека, который не спросил бы меня: «Ну как там, в Италии, поют?» И я вынужден был отвечать: «Нет, не слышал».

Да, как это ни странно, но Италия не поет. Даже Неаполь — город, родивший неаполитанскую песенку. Не знаю, может, мне просто не повезло, но я не слы-

шал песен. Впрочем, вру. Один раз слышал. Даже два раза, и оба в Неаполе. Но от песен этих мне стало только грустно.

Мы возвращались — я, Крайский и Паоло Риччи, художник, о котором я уже говорил,— поздно вечером после длительного блуждания по тупичкам и закоулкам «Куорпо е'Наполи». Усталые и голодные, вышли на какую-то площадь. На противоположной ее стороне виднелась толпа. Доносились звуки гитары.

— О! Это интересно,— оживился Риччи.— Это теперь не часто увидишь.

Мы подошли. В небольшом кругу людей стояли трое. Невеселые, бледные, потрепанные. Один, высокий, в черном свитере, пел, держа перед собой микрофон. Другой играл на гитаре. Третий сидел на ящике и курил. Зрители молча, не улыбаясь, слушали.

Пел человек в свитере недурно, скорее говорил под музыку, хриплым, но приятным голосом. Когда он кончил, раздались жидкие хлопки. Певец непринужденно раскланялся и, взяв кружку, пошел по кругу. Зрители бросали в нее монеты вяло и неохотно. Тогда с натужно-бодрым видом, потряхивая кружкой, он сказал:

— Если соберем еще столько же, Пьетро нам станцует. Правда, Пьетро? А он умеет это делать, поверьте мне.

И опять пошел по кругу. В кружку упало еще несколько монет. Их было совсем мало, но Пьетро встал — невысокий, рыхлый, очень бледный — и, так же не улыбаясь, как и зрители, затанцевал. Это был

странный, очень пластичный и неприятный танец. Пьетро изображал женщину — вилял бедрами, изгибался, делал волнообразные движения руками. И от всего этого — от молчаливой публики, от микрофона в руках певца, от его песни и от женоподобного рыхлого танцора — стало как-то тяжело и грустно.

А потом, когда мы зашли в кафе, нас услаждал там пением — и тоже под гитару — еще один певец. У этого не было ни голоса, ни слуха, и, хотя он пытался петь бодрые и веселые песенки, нам стало еще тоскливее. А может быть, мы просто устали...

Но не все неаполитанцы такие. Утром того же дня нам встретился настоящий неаполитанец, такой, какими мы себе их и представляем. Звали его очень звучно — Данте-Буонаротто. Он подошел к нам, когда мы, спугнутые толпами нахлынувших туристов, распрощались с Помпеей и шли к вокзалу. Спортивного вида, лет двадцати с небольшим, очень смуглый, в накинутом на плечи пиджаке, в расстегнутой рубахе и с маленьким золотым крестиком, поблескивающим на крепкой загорелой шее, он с очаровательной бесцеремонностью взял меня за локоть, отвел в сторону и из-под полы пиджака показал какой-то альбомчик-гармошку.

— Две тысячи лир...

В альбомчике оказались фотографии помпейских фресок, которые обычно не входят в путеводители.

За пять минут, которые мы шли к вокзалу, цена сбавилась до семисот, потом до пятисот лир.

— Подумайте, вы нигде этого не достанете,— с обезоруживающей убедительностью говорил он, не выпуская моего локтя,— ни в Риме, ни в Париже, ни в Нью-Йорке. Только здесь. И всего за пятьсот лир. А что такое пятьсот лир? Даже пообедать прилично нельзя...

Когда дело дошло до трехсот лир, мы сдались. Но не сдался он. Из кармана его появился крохотный брелок для часов, в высшей степени непристойный.

— Две тысячи лир...

Брелок был очень изящен, ничего не скажешь, непонятно было только, что с ним делать,— не носить же. Мы наотрез отказались. Данте вздохнул, сплюнул, сунул брелок в карман и тут же спросил:

— Вы в Неаполь?

— Да.

— Торопитесь?

— Торопимся.

— Тогда я вас отвезу. Поезд будет только через сорок минут. Вон моя машина.

В трех шагах от нас стоял «фиат». Его «фиат». Он его купил месяц тому назад. Машина подержанная, но, в общем, приличная. На одних альбомчиках и брелоках не проживешь. Приходится соперничать с поездом. За пять-шесть туристских месяцев можно подработать на зиму. А с альбомчиками дело дрянь. Туристы, правда, охотно их покупают, но за это преследуют. Недавно шестерых арестовали. Он сам чудом уцелел, выкрутился. Судили. Долго судили. Адвокат

был хороший. Очень убедительно доказывал, что за торговлю фотографиями произведений искусства (а это же настоящее искусство, а не порнографические открытки) судить нельзя. И все-таки засудили. По шесть лет дали. Очень уж там, на суде, кипятился и возмущался один поп. Потом он сам сел. За растление малолетних. Такие-то дела...

Он лихо вел машину, одной рукой придерживая руль, другой отчаянно жестикулируя, ни на секунду не умолкал, время от времени весело переругивался с шоферами обгоняемых им машин. Держался он просто, естественно, ничуть не заискивая и не подлаживаясь, с достоинством человека, честно зарабатывающего себе на хлеб. Узнав, что я русский, он стрельнул в меня веселым глазом, хлопнул по плечу, сказал по-русски «привет!» и опять заговорил о своем: о машине, бензине, туристах — презрения к которым, несмотря на наше присутствие, нисколько не скрывал,— о заработке, семье, дороговизне.

У станции канатной дороги, ведущей на Везувий, притормозил.

— Подыметесь?

— Времени нет.

— Нет так нет. Заедем тогда в музей.

Сказано это было с такой определенностью, что мы даже не пытались сопротивляться.

Музей оказался при фабрике, изготовляющей сувениры — очень милые маленькие копии помпейских и римских статуэток, камей, гемм, всякой старинной

утвари. Тут же, на твоих глазах, они делаются и тут же продаются. Мы походили-походили, ничего не купили и вернулись в машину. Проходя мимо какой-то женщины у входа, наш Данте состроил кислую физиономию и развел руками. Потом мы узнали, что он получает проценты с каждой вещи, проданной пассажирам, которых он привез.

— Ну что ж, на сотню лир меньше, не пропаду! — Он беспечно махнул рукой и погнал машину дальше.

Расстались мы друзьями.

— Приезжайте еще,— сказал он на прощание.— Я покажу вам такие места в Неаполе, в которых никто не бывает, даже ваш хваленый художник не был. О, я знаю Неаполь! И Сорренто, и Капри... И не на катере мы туда поедем, а под парусом. С Джованнино поедем, не пожалеете.— Он протянул свою широкую ладонь с тоненькой золотой цепочкой на запястье: неаполитанцы любят украшения.— Жаль, поздно я к вам подошел. В Помпее есть такие местечки... Э-э...

Он махнул перед лицом рукой и побежал к машине.

Недавно, в четвертый или пятый раз, я смотрел один из обаятельнейших итальянских фильмов (кстати, в Италии многие критики со мной не согласятся, считая его сентиментальным): «Два гроша надежды». И опять увидел этот жест, услышал это «э-э...», знаменитое неаполитанское «э-э...» — философически-скептическое междометие, в зависимости от интонации обозначающее все на свете. И сразу же

вспомнился наш предприимчивый продавец альбомчиков, наш неунывающий Данте-Буонаротто. Он чем-то даже похож на героя картины: такой же крупный, такой же у него притаившийся смех в глазах, такая же походка — быстрым шагом, размахивая руками,— такой же крестик на шее. Когда я спросил его, верит ли он в бога,— «э-э...» ответил он и махнул рукой. Я понял, что это значило: «Ну что вы меня спрашиваете? Разве я об этом думаю? И что изменится от того, есть бог или нет? Важно, чтоб тут было, в кармане... А крестик? Пусть висит, он не мешает. Может, бог все-таки есть...»

Э-э...

Я не знаю, что подразумевал наш Данте, загадочно намекая на какие-то местечки в Помпее, но, при всей моей симпатии к нему, я не очень огорчен, что его с нами не было.

Поехали мы туда первым поездом, чтобы избежать туристов. Помпея требует пустоты, безлюдья. На улицах ее не хочется разговаривать, не хочется слышать человеческую речь. Как нигде в другом месте, здесь хочется молчать.

Длинные прямые улицы. По сторонам — полуразвалившиеся стены. Мостовая из крупных камней, остатки лавы. Еще видны колеи от колес, следы подков. Пробивается молоденькая травка. Кипарисы, дикий виноград. А вверху утреннее, но уже жаркое небо

и Везувий, молчаливый, притаившийся и такой мирный-мирный — два года как он не дымит.

В руках у нас путеводители, но мы не заглядываем в них. Сейчас не хочется знать никаких деталей, никаких названий, дат. Мы знаем только, что две тысячи лет назад здесь была жизнь. Вот здесь вот, в этом замкнутом дворике с изящной колоннадой, именуемом перистилем, сидел какой-нибудь патриций, возможно даже и сам Цицерон (здесь есть и его вилла), и рабы подносили ему вино со льдом, а в этой вот комнате, стены которой украшены фресками, изображающими сатиров и силенов, шел пир горой, а где-то там, на арене амфитеатра, сражались гладиаторы. И вдруг всего это не стало. Потоки лавы, пепел, смерть.

Трагедия, длившаяся около полутора суток, похоронила не менее двух тысяч человек. Но только благодаря ей, благодаря семиметровому слою пепла, мы знаем теперь, как жили когда-то патриции, рабы, гладиаторы, ремесленники, лавочники, воины. Именно, как жили. В каких домах, на каких улицах, из какой посуды ели и пили, как выпекали хлеб, выжимали оливки и виноград. Помпея, Геркуланум и Стабия — только эти три города могут рассказать нам во всех подробностях о жизни, привычках, обычаях тех, кто жил за девятнадцать столетий до нас. Мгновенная смерть сохранила их для истории.

Маленькая девочка, лет десяти,

тоненькая, хрупкая, в светленьком платьице, с глиняным кувшином в руках, деловито пересекла дворик и скрылась в атриуме. И почти сразу же вернулась. Полила цветы, какие-то очень нежные розовые цветы вокруг пустого сейчас бассейна, что-то поправила, подстригла ножницами и так же деловито, даже не взглянув на нас, ушла.

На какое-то мгновение нам ей-богу же показалось, что на ногах у нас ременные сандалии и сами мы завернуты в тоги, а голоса, доносящиеся откуда-то снаружи,— это голоса носильщиков, которые доставили нас сюда.

Нет, то были не носильщики. То были туристы. Прибыла первая партия автобусов.

Апрель — это еще не туристский сезон. Начинается он позже, в мае. Разгар — июнь, июль, август. Это — время американцев. В апреле же больше всего почему-то немцев из Федеративной Республики Германии. Есть и французы и англичане, но больше всего немцев.

Не знаю, что происходит здесь летом, но сейчас, при виде этого потока людей, нам сразу же, немедленно, захотелось бежать из Помпеи. Точно плотина прорвалась. С обязательными фотоаппаратами, все как один в громадных черных очках, лишающих лица какого-либо выражения, шумные, крикливые, вездесущие, они как-то сразу заполонили весь дворик, все его за-

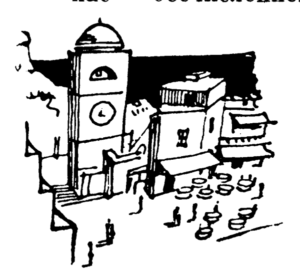
коулки. И тут же начали сниматься — по двое, по трое, группами.

Мы обратились в бегство. Мы не заходили уже ни в Форум, ни в театры, ни в цирк — мы бежали. Помпея кончилась, начался музей.

Я не буду подробно рассказывать о нашей поездке на Капри. Мы пробыли там всего несколько часов. Сели на таратайку того самого Винченце Вердолива, чья жена приняла меня за еттаторе, и не торопясь, трусцой, объехали весь остров.

Этот островок — один из самых фешенебельных теперь уголков отдыха на земном шаре. Он похож на Крым. Такие же, как в каком-нибудь Гурзуфе, крутые, взбирающиеся в гору улочки, и сложенные из рваного камня стены, увитые глицинией, и кипарисы, и кокетливо белеющие среди густой и суховатой зелени виллы и дачи. И такое же солнце, такое же синее-синее, сливающееся с небом море.

Когда мы торговались с Винченце на шумной набережной Марино-Гранде, «главного порта» острова, он, чтобы отбить нас от других извозчиков, соблазнял нас бесчисленнейшим количеством чудеснейших мест, которые он нам покажет, и всего за каких-нибудь полтора-два часа.



— Все увидите. И Капри, и Анакапри, и Лазурный грот, и дачу Горького, все...

Последнее нас особенно тронуло (ведь он не знал, что мы русские), поэтому, отвергнув все другие предложения, мы взгромоздились на его таратайку.

Ни в Лазурный грот, ни на дачу Горького (она, оказывается, заколочена, в ней никто не живет) мы так и не попали. Зато мы видели ссору двух каприянок (так, что ли, они называются?), которые, вцепившись одна другой в волосы, лупили друг друга снятыми с ноги туфлями; видели и деревенскую свадьбу, где невесту осыпали пригоршнями конфет, но, главное, мы ближе познакомились с Винченце.

Подхлестывая больше по привычке, чем по надобности, кнутом свою жалкую, лениво перебиравшую ногами кобыленку, время от времени поворачиваясь в нашу сторону, он неторопливо — так же как мы ехали — рассказывал нам о житье-бытье.

— Вот так вот и езжу. Вверх и вниз, с горы да на гору. И так всю жизнь. Впереди хвост, сзади пассажир. А иногда один только хвост, а сзади никого... Было нас когда-то много, а теперь семь человек осталось. Автобусы... А что за интерес на автобусе? Что увидишь? Вот мы с вами едем, а захотим — остановимся, выйдем, посидим, посмотрим на море, вы что-нибудь поснимаете. А там? Три минуты — и Капри, еще три минуты — Анакапри. Завалятся в ресторан и пьют. «Ах, как красиво, ах, как красиво!», а из ресто-

рана ни на шаг. Выскочат на минутку, купят сувениры — и назад. Тьфу!..

Видно, автобусы крепко насолили нашему Винченце. К тому же и «овес подорожал»,— вечная жалоба всех извозчиков мира.

— А Горького вы возили когда-нибудь, синьор Винченце?

— А как же! Очень часто. И его, и жену его — красивая такая была, артистка, кажется,— и сынишку. Всех возил.

— А Ленина не возили? Он тоже тут жил.

— И Ленина возил,— без запинки ответил Винченце.

И то и другое было, конечно, чистейшей фантазией — вряд ли он занимался своим ремеслом раньше десятилетнего возраста. Мы с Крайским только перемигнулись: старику просто хотелось доставить нам удовольствие, а заодно и повысить себе цену в наших глазах.

— Тут вообще много русских было. И школа у них здесь партийная была. Вон там вот, видите, среди зелени? Там теперь ресторан. Вообще хороший народ, не скупой...

Мы поняли намек и, прощаясь со стариком, постарались поддержать в нем его мнение о натуре русского человека. Поговорив о русских, Винченце опять вернулся к своей излюбленной теме: и гудят эти чертовы автобусы непрестанно, и разъ-

ехаться с ними на улицах невозможно, и воняют немилосердно.

— Ну что это за воздух? Разве такой раньше был? Как вино был — пьешь и не пьянеешь. А теперь? Вон прется сатана, кур только давит...

Громадный желтый тупорылый автобус, подымая тучи пыли, пронесся мимо нас, и старик долго после этого отплевывался, вытирал шею и лицо платком, потом показал нам его — совсем черный, как будто в этом виноват был только автобус [1].

Вообще старик всю дорогу ворчал и чем-то возмущался. После автобусов — ресторанами, туристами, своим хозяином, падением нравов, погодой. И все вдруг переменилось, когда мы сказали, что хотели бы посетить его дом, познакомиться с семьей.

Он сразу как-то просветлел и весело прищелкнул бичом.

Домик у него оказался небольшой, на косогоре, окруженный такими же прилепившимися друг к другу домиками. От входа к улице террасами спускался садик — в основном подпорные стенки и каменные ступеньки. Полощется на ветру белье, торчат из земли круглые, как блины, кактусы. Несколько деревьев — то ли оливы, то ли миндаль. И тут же куча детворы.

---

[1] Недавно я получил письмо от Крайского, который пишет, что милый наш Винченце не выдержал конкуренции — продал свою лошадь и купил подержанную легковушку и, очевидно, сам уже стал давить кур.

Посмотрели на нас мельком и опять погрузились в свои заботы — что-то мастерить из старого безногого стула. Потом появились черноглазые растрепанные девицы всех возрастов, очень тоненькие и смущающиеся, за ними какие-то парни. Я так и не понял, кто из них сыновья и дочери, а кто зятья и невестки; но, когда собрал всех, для того чтобы сфотографировать, их оказалось так много, что пришлось разбить на две партии.

Как и всегда перед съемкой, началась легкая суматоха. Стали переодеваться, вынимать что-то из сундуков, причесываться, украшать волосы цветами. Я тайком снял эту сутолоку, и конечно же, не испортись, как назло, в этот день мой аппарат, все получилось бы очень весело и хорошо. Но он и испортился-то, я уверен, потому, что все эти славные, живые, улыбающиеся лица, увидев перед собой объектив, стали такими вдруг скучными и тусклыми.

К слову, почему все так любят сниматься? И без особой даже надежды получить карточку. В Неаполе, например, к нам пристал какой-то парень. Он силком забрал у Крайского чемоданчик, который тот с собой носил, и несколько часов таскал его вслед за нами. И все это для того, чтоб попасть ко мне на пленку. Каждый раз, когда я что-нибудь фотографировал, он спрашивал разрешения, становился где-нибудь вдали и подымал руку со сжатым кулаком. Кажется, у меня нет ни одного неаполитанского снимка, где то ли на фоне церкви, то ли просто в уличной толпе не мая-

чила бы его тщедушная фигурка с рот-фронтовским приветствием. И в этом сжатом кулаке было что-то очень трогательное — парню хотелось отблагодарить меня, доставить мне удовольствие.

Мы недолго пробыли в гостях у Вердолива — через час должен был отойти наш катер,— но все-таки успели посмотреть фотографии всех родственников, развешанные по стенкам и заключенные в альбом, и конечно же попробовать каприйского вина.

Старик был весел и горд. От его дурного настроения и воркотни не осталось и следа. Даже инцидент со старухой, которая отказалась фотографироваться, не очень огорчил его.

— Ну что с ней поделаешь! Такая она уж у меня. Не переделаешь.

Мне жаль, что не получилось карточки, но память о нашей прогулке на тряской таратайке я сохранил и без нее: плоский колючий кактус, вырванный мной из каприйской земли и брошенный в чемодан, мирно растет у меня теперь на окне.

Кто-то из наших писателей, побывав в Италии, писал потом в газете о прелести коллективных поездок. Стоишь, например, над Флоренцией, на Пьяццале Микеланджело, а вокруг тебя русская речь. Как приятно...

Не знаю, может, это и так. Но я тоже стоял на

Пьяццале Микеланджело, и вокруг меня была только итальянская речь — и меня это нисколько не огорчало, хотя я тоже люблю русский язык.

И все же, когда со мной в Неаполь поехал Крайский, я этому обрадовался. Обрадовался именно потому, что рядом со мной оказался русский. Правда, не только русский, а одновременно и итальянец. Русский по происхождению, по какому-то чисто русскому образу мышления, итальянец — по месту и образу жизни, по воспитанию, а в чем-то даже трудно уловимом и по духу.

Мы много с ним говорили. И в поезде, и, надев от солнца газетные колпаки, на пароходике, и блуждая по ночному Неаполю, и потом в гостинице, растянувшись усталые на кроватях, докуривая последние перед сном папиросы.

Мне интересно было его слушать, ему — меня. Мы оба коммунисты, и на основное, на главное, взгляды у нас одинаковые. Но мы живем в разных странах, он в капиталистической, я в социалистической, окружены разными людьми, подчиняемся разным законам, и что-то нам нужно было разъяснять друг другу.

Кое-что я все-таки знаю об Италии. Немного знаю — к сожалению, гораздо меньше, чем хотелось бы,— литературу, чуть побольше искусство, имею какое-то представление об истории страны. Но народа — его мыслей, надежд, интересов, его жизни, его души — я не знаю. Крайский, возможно, в несколько лучшем положении, чем я,— как активный член общества

«Италия — СССР», он внимательно следит за нашей литературой, читает газеты, журналы. Но в России он, в сущности, не жил и народа ее тоже не знает. Поэтому и у него и у меня вопросов было столько, что, пробыв вместе три дня, мы и половины их друг другу не задали.

Он любит русских, тянется к ним, любит нашу страну, радуется каждому нашему успеху и потому с особой болезненностью реагирует на то, что считает нашими промахами. Между прочим, эта черта свойственна не только ему одному. Она свойственна многим коммунистам (и литераторам и нелитераторам), с которыми я встречался, да и не только им, а всем, кто симпатизирует нам, хотя и не во всем соглашается с нами.

Мы много и горячо спорили с одним вспыльчивым, экспансивным миланским литератором-социалистом. Далеко не во всем нам удалось убедить друг друга. Но последняя его фраза, заключившая наш спор, на мой взгляд, очень характерна.

— Вы делаете большое дело,— сказал он.— Успехи ваши громадны. За сорок лет вы превратились в одну из самых передовых стран мира. Не все из того, что вы делаете, мне понятно, многое просто чуждо. Но учтите одно: нет дня, чтобы мы о вас не говорили. Честное слово! Каждая ваша радость — наша радость, каждая победа — наша победа. А когда нам кажется, что вы делаете ошибки, нам тяжело и больно. Но, так или иначе, жить без вас мы не можем. Учтите это.

И это действительно так. Интерес к нашей стране огромный. Наши газеты, журналы читают очень внимательно. О статьях, о корреспонденциях с мест (особенно если они подписаны известными итальянцам именами), о самой манере подачи материала много говорят, спорят, критикуют, и, нужно сказать, иногда довольно метко.

В Турине у меня произошел любопытный разговор в редакции местного издания газеты «Унита».

Показав нам редакцию и типографию, заместитель редактора, молодой, хитроглазый и, как я из дальнейшего разговора понял, весьма колкий Джанни Рокка, пригласил нас в свой кабинет и, присев на край стола, сказал, как обычно в таких случаях бывает, что, если есть какие-нибудь вопросы, он с удовольствием ответит.

Я задал обычный вопрос: как и где они берут международную информацию? Рокка хитро взглянул на меня и ответил:

— Юнайтед Пресс, Ассошиэйтед Пресс, Франс Пресс...

— Наши газеты?

— Нет.

— Почему?

— У нас нет времени ждать. Мы окружены буржуазными газетами. Если мы хоть на час опоздаем с каким-либо сообщением, нас не станут покупать. А вас, к сожалению, в излишней оперативности никак не обвинишь. У нас особый читатель, нелегкий. Если

экспресс Рим — Париж сошел с рельсов, он хочет знать все подробности. И сколько убитых, и сколько раненых, и чтобы очевидец все сам рассказал, и чтобы фотография разбитых вагонов и паровоза была. А у вас,— он опять лукаво взглянул на меня,— у вас ведь, судя по вашим газетам, даже стихийных бедствий не бывает, я не говорю уже о железнодорожных катастрофах.

Он внимательно выслушал мои возражения, сводившиеся в основном к тому, что мы против дешевых сенсаций, против щекотания нервов, что в задачи газеты входит не только сообщение о тех или иных событиях, но и вмешательство в некоторые из них. Я говорил о большой и нелегкой работе отделов писем, куда за советом и помощью обращаются тысячи читателей. Он все это терпеливо выслушал и сказал:

— Все это очень хорошо, не спорю, и этому мы у вас учимся — активному вмешательству газеты в жизнь. Но ведь мы говорили о другом, мы говорили об информации. И тут мы с вами не в одинаковом положении. И кто в более трудном — не знаю. Если я не буду писать о катастрофах и убийствах, или, по вашему выражению, щекотать нервы, у меня упадет тираж, а у какого-нибудь «Джорно» повысится. У вас тираж не упадет, но, наверно, появится то, что во всех странах заменяет отсутствующую информацию,— появятся слухи. А с ними нелегко бороться. Кроме того, вы чудовищно многословны,— продолжал он.— Выходите вы на четырех, максимум шести-восьми поло-

сах — по сравнению с нашими, особенно богатыми буржуазными, газетами это очень мало,— а сколько лишних слов у вас. Читая ваши подвалы, пока доберешься до основной мысли, надо прорваться сначала сквозь дремучий лес общих фраз. Очень уж вы неэкономны. И это, на мой взгляд, один из основных ваших грехов. Второй — чрезмерная скупость информации и непозволительное запаздывание ее. Не слишком ли долго вы обдумываете каждый идущий в газету материал? Оперативность в газетном деле — всё. Вчера в шесть часов вечера произошло какое-то событие — выступил Хрущев или Эйзенхауэр, где-то состоялась демонстрация или, наоборот, ее разогнали,— в шесть утра рабочий должен уже об этом прочесть, и не только сообщение, а и нашу оценку самого события. Опаздывать я не имею права ни на час, ни на минуту. Прогонят...

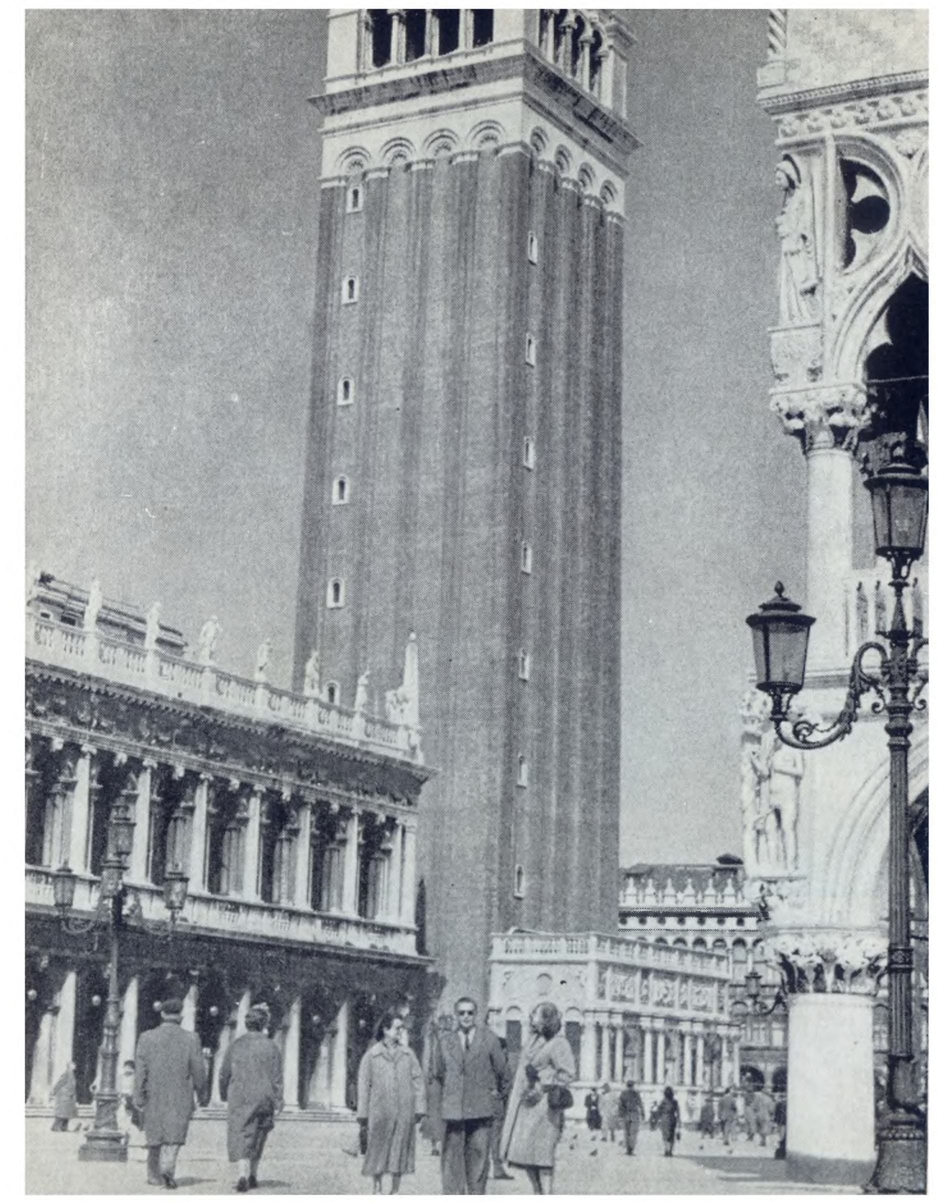
И все это Рокка говорил вовсе не потому, что он хотел похвастаться,— нет, просто ему, как коммунисту и газетчику, хотелось бы, чтоб наши газеты были для них во всем примером. В этом он был таким же, как многие другие передовые итальянцы, иногда и некоммунисты.

— Ведь мы хотим у вас учиться,— говорят они.— Хотим. Но не всегда получается. И не всегда по нашей вине.

Верно. Мы недооцениваем тягу рядового итальянца к нам. Недооцениваем то влияние, которое оказывает на итальянца наша культура, искусство, литература,



Венеция... Город четырехсот мостов, ста пятидесяти каналов и сотен тысяч туристов.





Набережная Скьявоне — место прогулок и отдыха.

Площадь Сан-Марко — центр Венеции.



Но есть и такая Венеция... Как ни странно, но улица на фотографии справа имеет даже название и номера домов.





Самое невенецианское из всех венецианских зданий — вокзал.

Рабочая окраина.

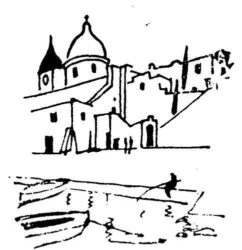


кино. Нам жаловались на то, что в Италии не знают советских фильмов. Почему? А потому, что в Италии существует кинематографическая цензура. Она против наших фильмов. Но, оказывается, ее легко обойти, нисколько не уклоняясь от строгой легальности. Как? «Присылайте фильмы на узкой пленке. Они не считаются коммерческими, их можно показывать в любом рабочем клубе». Почему же мы их не посылаем?

В городе Фаэнца есть крупнейший в мире музей керамики. Это очень интересный музей. В нем представлены художественные изделия — вазы, посуда, скульптура — из фарфора, фаянса и прочих видов керамики. Представлены все страны мира. Нет только Советского Союза. Почему? Дирекция музея неоднократно обращалась к нам, в Академию наук, Академию художеств, Эрмитаж. Ответа не последовало. Почему?

Так было в апреле 1957 года. Теперь в Советском Союзе организовано общество «СССР — Италия». Будем же надеяться, что с появлением его эти, назовем их мягко, досадные шероховатости исчезнут.

Итак, Неаполь, Помпея, Капри уже позади... За широкими окнами нашего «рапидо» проносятся селения и городишки с обязательными башнями и колокольнями, с пиниями и кипарисами, с прижавшимися друг к другу среди скал домишками. Путешествие мое



приближается к концу. Завтра в это время я буду уже в самолете, по пути в Париж.

До Рима еще час с небольшим, и я стараюсь использовать эти последние спокойные минуты, чтобы расспросить Крайского о том, что по-настоящему не успел узнать за эти три недели.

Как живут рабочие — вот что меня интересует.

Собственно говоря, только во Флоренции и Ивреа мне удалось столкнуться с рабочими. Именно столкнуться, не больше, так как на заводе Галилео во Флоренции мне удалось поговорить с ними не более получаса во время обеденного перерыва, а на фабрике пишущих машинок Оливетти я видел их стоящими за станками, и даже так поговорить с ними мне не удалось.



Фабрика Оливетти — интересное явление. Ее всегда приводят в пример, когда хотят доказать, что в капиталистическом мире рабочим может житься очень хорошо.

Внешне все действительно производит большое впечатление. Фабрика находится в пятидесяти пяти километрах от Турина, в небольшом городишке Ивреа. Архитектура здания выдержана в самом что ни на есть ультрасовременном стиле. Светло, удобно, рационально распланировано, красиво — и вокруг здания (подстриженные газоны, цветники), и в цехах (где все время слышны звуки тихой, приятной музыки), и в просторном, удобном конструкторском бюро, и в рабочей столовой, где

максимум за двадцать минут рабочий может недорого и довольно сытно пообедать. Тут же рабочий поселок — большие и маленькие очень уютные домики, квартиры в рассрочку. Есть и медицинское обслуживание. Рабочие получают оплачиваемые отпуска. Заработки относительно высоки, выше, чем на других заводах и фабриках. Рабочий день — семь часов. Два дня в неделю выходные — суббота и воскресенье.

— Что? Поражен? — улыбнулся Крайский.— А Оливетти на это и бьет. Он незаурядная фигура. И дело знает. Собирается на выборах выставлять свою кандидатуру. В парламент попадет, уверяю тебя. Кроме того, он любитель искусств, знаток архитектуры. Ты сам архитектор, понимаешь — построено все толково. Есть у него и собственное издательство. Выпускает книги по искусству. Привлек хороших специалистов, издает специальный архитектурный журнал. В общем, дело поставлено на широкую ногу, да и реклама незаурядная. Но ведь все это уже давно знакомо... И Фордом в свое время кое-кто восхищался... Ах-ах, вот это да!.. Сам старик ходит по цехам, ручки рабочим жмет. «Привет, Джон! Привет, Боб! Как там твоя жена, поправилась уже?» Но дело ведь не в журнальной рекламе, не в мелодиях вальса, даже не в квартирах в рассрочку и оплачиваемом отпуске. Все это очень хорошо. Важно другое — важно то, что от этого больше всего выгадывает все-таки сам Оливетти, хотя он и пытается изобразить себя отцом рабочих.

Даже слово такое придумано: «патернализмо» — отцовство...

Как мне позднее рассказали, этот новейший вид патриархальности допускает слежку «отцов», за «детьми», за их убеждениями и даже за их домашней жизнью. Тех, кого интересуют эти вопросы, я отошлю к специальной литературе[1]. Здесь же ограничусь только основным. Выяснилось, что сейчас, во второй половине XX века эксплуатировать рабочих так, как это делалось до сих пор, нельзя. Капиталистам это просто невыгодно. Надо сделать так, чтоб рабочий был не врагом, а «своим». И вот появилось то, что, опираясь на теории Тэйлора и Форда, получило сейчас название «неокапитализма» или «народного капитализма», «метода человеческих отношений», «социального партнерства», «патернализма». Как бы это ни называлось, все это, конечно, различные способы «культурных» методов усиленной эксплуатации рабочих посредством повышения интенсивности труда. Но, так или иначе, явление это в плане новейшей капиталистической демагогии весьма любопытное. Предприятие Оливетти — нечто вроде маленького государства в государстве. Существует даже собственное «движение»,

[1] Журнал «Мировая экономика и международные отношения», 1958, № 6, статья Лисовского «Предприниматель Оливетти и движение «Комунита»; № 11, статья Машенского и Киселева «Новое идеологическое оружие монополий»; журнал «Проблемы мира и социализма», 1959, № 1. Отчет о дискуссии в Риме в институте им. А. Грамши.

возглавляемое Оливетти,— «Общность» («Комунита»). Партия эта, если ее можно так назвать, выдвигает своих кандидатов на выборах, и во многих местах близ Ивреа одерживает даже победу. На последних выборах ей удалось провести в парламент нескольких своих членов и, как я узнал позже, в их числе самого Оливетти. Объясняется это, в частности, тем, что Оливетти организовал в этой довольно бедной сельскохозяйственной провинции большое количество поддерживаемых им артелей, изготовляющих футляры для машинок и прочую нужную для производства мелочь. В сущности, это нечто вроде зачаточной мануфактуры, домашней промышленности, которой окружает себя современнейшее капиталистическое предприятие, не упуская возможности извлечь прибыль отовсюду, где можно. Но все это создает Оливетти определенную популярность. А деньги? Прибыль? Что ж, в Италии он монополист. Монополистом был уже его отец. Даже Ремингтон не в силах с ним конкурировать. У Ремингтона портативная пишущая машинка стоит семьдесят пять тысяч лир, а у Оливетти — от тридцати восьми до шестидесяти тысяч. Да еще в рассрочку.

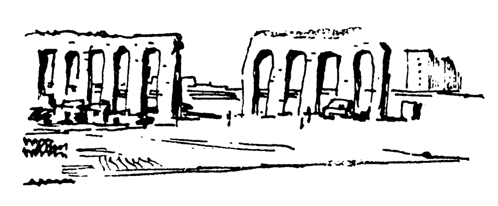
Пятидневная неделя, семичасовой рабочий день — это, конечно, производит впечатление. Но, оказывается, все это произошло вовсе не по доброй воле любящего своих рабочих Оливетти. Все это произошло после забастовки, охватившей в октябре — ноябре 1956 года 90 процентов рабочих предприятия Оливетти. Рабочие защищают свои права. Борьба ни на минуту

не утихает. И в результате за период с 1950 по 1956 год общий объем зарплаты увеличился вдвое — с 6 миллиардов до 12 миллиардов лир.

За окнами, обгоняя нас, то есть со скоростью не менее ста тридцати километров в час, пронесся маленький, последнего выпуска «фиат».

— Хорошая машина,— сказал Крайский.— Экономная, недорогая. Ты не был в Турине на заводе Фиат? Жаль. Оливетти все-таки остров, вернее островок, а Фиат, Монтекатини, Ансальдо, Бреда — автомобили, химикалии, суда, электровозы — это океан, бушующий океан. Дело крепко завинчено. Если ты коммунист — к чертовой матери! Или — или. Или работа, или билет ИКП. А если ты все же нужен, тебя засекречивают, лишая права общения с другими. А коммунистов у нас в стране все-таки два с лишним миллиона. И еще одна цифра, которую нельзя забывать,— два миллиона безработных. Вон они, видишь?

Я глянул в окно. Мы проезжали мимо древних полуразрушенных акведуков. У подножия их лепился целый город крохотных лачужек — из фанеры, досок, проржавленного кровельного железа. Пыль, грязь, ни од-



ного деревца. Здесь жили безработные, городская беднота.

Поезд стал сбавлять ход. На смену хибаркам появились громадные, похожие как близнецы, массивы многоквартирных домов. Окраина Рима. Еще несколько минут — и вокзал...

Я давно уже ищу случая сказать несколько слов о Римском вокзале. А зацепившись за него, и вообще о современной архитектуре Запада. Наконец этот случай подвернулся, расскажу об архитектуре.

Крайский пошел куда-то звонить, а я стал прогуливаться взад и вперед по вестибюлю. К слову сказать, французы остроумно называют вокзальные вестибюли «salles des pas perdus» — «залы потерянных шагов», как в свое время был назван огромный зал в Palais de Justice, здании судебных учреждений, где часами прогуливались, ожидая вызова.

Итак, о Римском вокзале. О нем стоит поговорить.

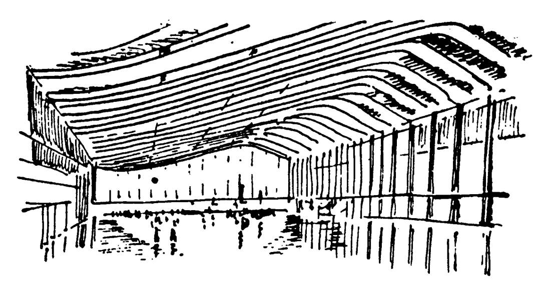
Когда обтекаемый курьерский поезд, несущийся со скоростью ста двадцати километров в час, сбавив ход, въезжает под гулкие своды — нет, не этого, не Римского, а, допустим, Миланского вокзала,— сразу становится как-то не по себе. Из мира целенаправленной, удобной, красивой, я бы сказал даже, изящной техники, из мира легких электромачт, ажурных мостов и строгих, но великолепно гармонирующих с окружающим пейзажем железобетонных виадуков ты попа-

даешь вдруг во что-то такое громадное, тяжелое, каменное, мрачное и безвкусное, что я понимаю, например, миланцев, когда они не могут без содрогания говорить о своем вокзале.

И тот же поезд, въезжающий на центральный вокзал Рима «Стационе Термини» («Конечная станция»), приезжает точно к себе домой.

Еще по пути сюда — в Праге, а потом в Париже — прежде всего бросилась мне в глаза, а потому и запомнилась архитектура аэропортов. Особенно Орли́. Невысокое, подчеркнуто горизонтальное, растянутое по земле, чисто утилитарное здание. Внутри очень светло и как-то все насквозь видно. Украшений никаких. Много надписей, указателей, стрелок. Это не музей и не памятник архитектуры. Рассматривать тебе здесь нечего. Тебе надо знать, где касса, прием багажа, выход на летное поле. Ты торопишься, и изучать рисунок карнизов и капителей у тебя нет времени. Аэропорт — ворота города, сквозь них проходят. Важно, чтобы они были широки и удобны. И второе: архитектура аэропорта близка по своим формам, по своему характеру к самолету — машине, на которой нет ни одной лишней детали и которая, может быть, именно поэтому так красива в своей логической законченности. И хотя красота самолета рождена законами аэродинамики, а зданию аэропорта лететь некуда и незачем, логичность форм того и другого создает необходимую для архитектуры гармонию.

Принцип вокзала тот же, что и аэропорта. Те же



ворота города. Только народу здесь проходит больше, поэтому и габариты побольше. Римский вокзал — одно из крупнейших и совершеннейших сооружений этого рода в Европе. Строили его долго, двенадцать лет: мешала война. В 1950 году он вступил в строй.

Я не буду говорить об удобствах планировки самого вокзала — он тупиковый, а это очень облегчает работу архитектора: не надо думать о туннелях и переходах через пути. Но хочется сказать об архитектуре, об общем впечатлении.

В аэропорте Орли архитектуру почти не замечаешь, настолько она утилитарна. Здесь же не только замечаешь, здесь покоряешься ею. Железобетон и стекло — больше ничего. Но все таящиеся в них возможности использованы, видимо, до конца. Ничего дробного, мелкого, отвлекающего внимание. С первой же секунды охватываешь все целиком. И происходит это потому, что мало составных элементов. По сути два: легкое остроумное перекрытие над всеми залами в виде плавно изгибающихся параллельных арок, переходящих в консоли козырька, и стеклянные стены. Просторно, светло, много воздуху, никаких столбов, колонн, украшений. Даже торопясь со своим чемоданом на поезд, ты успеваешь запомнить вокзал. Не част-

ности, а весь целиком, так как частностей нет, только киоски и кассы. В этом сила архитектуры, в этом ее логика, а значит, и красота.

Вспоминается Казанский вокзал в Москве. Строил его ныне покойный Щусев, один из лучших архитекторов своего времени, автор множества архитектурных памятников, в том числе и Мавзолея Ленина. Построен Казанский вокзал давно — в 1914 году, в период расцвета в архитектуре так называемого «модерна». Это крупнейший в нашей стране вокзал, если не считать Новосибирского. Он тоже тупиковый, поэтому параллель с Римским вокзалом — правда, выстроенным на сорок лет позднее,— вполне уместна. Что же поражает в нем, кроме размеров? Архитектура. За основу взята башня Суюмбеки в Казани — очень любопытный и характерный памятник архитектуры XVIII века. Мысль, значит, такая: ты едешь в Казань — вот она тебе уже здесь, в Москве. Мысль, не лишенная остроумия, но, в общем, довольно нелепая. Над всем зданием господствует сделанная с большим вкусом, но абсолютно ненужная уступчатая башня, вариация на тему Суюмбекиной. Фасад здания раздроблен, внутренность перегружена архитектурными, лишенными конструктивного значения деталями. Громадные балки на потолке зала ожидания ничего не несут, они подвешены к потолку, они только украшение в угоду стилю, вернее, стилизации.

Общее впечатление: грандиозный терем, сказочный дворец, Казанский кремль — все что угодно, только

не вокзал. То же впечатление и внутри. Здесь все рассчитано не на спешащего на поезд пассажира, приходящего за пять минут до его отхода, а на пассажира, ожидающего часами. Для него-то, очевидно, и расписаны талантливой кистью Лансере плафоны и стены вокзала. Именно для него, сидящего на своих тюках и чемоданах. А так — начнешь рассматривать и на поезд опоздаешь.

Другой невольно вспоминающийся пример — Киевский вокзал (не в Москве, а в Киеве). Когда-то, лет тридцать тому назад, я работал на его постройке техником-стажером, и тогда он казался мне верхом совершенства. Это было первое железобетонное здание в Киеве. Автором его был профессор А. М. Вербицкий. Позднее, в институте, под его руководством я сделал два курсовых проекта вокзала. Поэтому-то, да простят меня, я и застрял сейчас на вокзалах несколько дольше, чем, возможно, этого хотелось бы читателю.

Если не ошибаюсь, в 1932 году строительство закончилось. Вокзал получился большой и не очень красивый. Перед автором поставили довольно сложную задачу — сочетать конструктивизм с мотивами украинского барокко. В результате центральный вестибюль снаружи был украшен упрощенно-стилизованным барочным «кокошником», внутри же все выдержано было в конструктивистском духе. Повторяю, все это получилось не слишком красиво (конструктивизм требует первосортных отделочных материалов и деталей, которых у нас тогда не было), но с точки зрения архи-

тектурной логики придраться особенно было не к чему.

Несколько лет тому назад кому-то в голову пришло «обогатить» внутренность вокзала. Слишком, мол, скучно в нем сидеть в ожидании поезда и рассматривать голые арки. И вот обогатили! Появились пилястры, карнизы, капители, вся та мраморная и «под мрамор» мишура, якобы прикрывающая наготу, а на самом деле разрушающая форму. Не напоминает ли это историю со «Страшным судом» в Сикстинской капелле, где по велению Павла IV обнаженные фигуры были «задрапированы» рукой Даниеле да Вольтерра — живописца, с того времени и до конца дней своих носившего прозвище «Исподнишника», il Brachettone?

Нет, что касается меня, я за Римский вокзал.

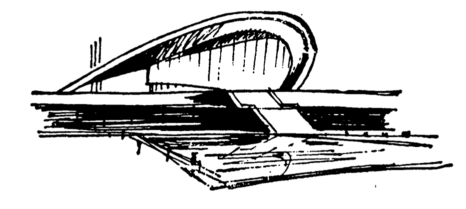
Мы часто и много спорим об архитектуре. Иной раз в троллейбусе, проезжая мимо только что отстроенного или еще строящегося дома, среди оживленных разговоров о размахе нашего строительства слышишь реплики: «И зачем вдруг башню здесь посадили? Кому она нужна? А колонны эти? Целый лес. Только окна загораживают». Сейчас, правда, мы стали строить проще и дешевле, но лет пять тому назад тема архитектурных излишеств была одной из самых популярных.

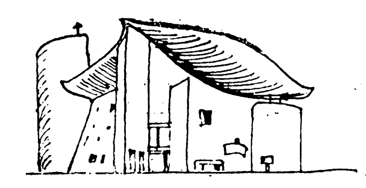
Требовательность эта понятна. Архитектура рядом с нами. Хочешь или не хочешь, но общаться с ней приходится ежедневно, ежечасно. Книгу можно прочесть или закрыть на любом месте, радио, телевизор

выключить, но закрывать глаза, проходя мимо того или иного дома, все-таки трудно. А иногда, ох, как хочется...

Не будем идеализировать современную архитектуру Запада. Там всякого хватает. Я долго ходил вокруг строящегося здания картинной галереи в Турине, подходил вплотную, отходил на противоположную сторону улицы и так и не понял, где же вход, где выход, где крыша и есть ли она вообще. Год спустя в Западном Берлине, в Тиргартене, я не без труда пытался разгадать замысел нового «Конгрессхалле», построенного американцами для международной строительной выставки 1957 года («Интербау»). В высшей степени странное сооружение. Стоишь, смотришь на архитектурную головоломку и только плечами пожимаешь.

Но, пожалуй, больше всех озадачил меня кумир моих юных лет — Ле Корбюзье. В маленьком французском местечке Роншан, недалеко от швейцарской границы, неугомонный семидесятилетний архитектор соорудил церковь. О ней много сейчас пишут и спорят на страницах архитектурных журналов. Скажу прямо, ничего подобного ни сам Ле Корбюзье, ни кто-либо из существовавших до сих пор архитекторов не создавал. Мы как-то привыкли к тому, что все созданное Ле Корбюзье, как правило, зиждется на определенных законах архитектурной и конструктивной логики. В





этом его сила. Здания его могут нравиться или не нравиться — это другой вопрос, но мысль автора, цель, к которой он стремится, всегда была ясна и понятна. В церкви же Роншан понять что-либо без специальных комментариев просто невозможно. К сожалению, я не видел этой церкви в натуре; но, разглядывая фотографии ни на что не похожего строения, состоящего из столбов, башен, балконов, навесов и изогнутых, извивающихся стен, испещренных какими-то прямоугольными отверстиями, становишься просто в тупик. И невольно, глядя на это здание одного из наиболее передовых архитекторов Запада, на эту церковь (и почему это церковь? Ах, да, там крест наверху...), думаешь: а не зашла ли и архитектура в тупик?

К слову сказать, в 1932 году на наш вопрос, как Ле Корбюзье относится к современной церковной архитектуре, которая на Западе уже тогда подпала под влияние самых модных течений, он нам ответил: «Какое мне дело до церквей! Проблемы архитектуры в другом. Они в строительстве городов!» Верно! Именно в этом. Сам Ле Корбюзье за прошедшие с тех пор двадцать пять лет немало потрудился в этой области. Далеко не все, правда, ему удалось осуществить (проекты реконструкции Алжира, Страсбурга, Сен-Назера и многих других городов так и остались на бумаге), но строящийся сейчас по его проекту правительственный центр в Чандигархе, новой столице Восточного Пенд-

жаба, в Индии, безусловно заслуживает самого пристального внимания. Здесь Ле Корбюзье удалось очень интересно и, главное, конструктивно, а не только декоративно сочетать присущий современной архитектуре рационализм с элементами национальной индийской архитектуры. И вот наряду с этим церковь в Роншан — на мой взгляд, венец архитектурной алогичности и иррациональности.

Повторяю, западную архитектуру нетрудно обвинить во многом — и в чрезмерном оригинальничанье, и в кокетничанье причудливыми формами или, напротив, в стандартности и однообразии многоэтажных жилых корпусов. Но одного никак нельзя у нее отнять — ее современности, умения использовать последние достижения строительного искусства.

Можно спорить, что красивее — яснополянская усадьба Толстого или ультрасовременная вилла «холлидей-хауз» где-нибудь на Ривьере (мне, например, больше по сердцу первая), можно без конца дискутировать о роли и месте классики в современной архитектуре, но, когда проходишь мимо строящегося здания, нижние этажи которого облицовывают гранитом, невольно отворачиваешься. Стыдно смотреть на то, как во второй половине двадцатого века рабочие вручную обрабатывают гранитные плиты, а потом впятером, орудуя ломиками, поднимают их по сходням наверх. Кстати, если это делается даже кранами, суть дела от этого не меняется.

Парфенон, Реймский собор, церковь в Коломен-

ском — шедевры мировой архитектуры. Они совершенны не только благодаря своим пропорциям или мастерству скульпторов и каменотесов, но и потому, что в их основу положены самые передовые для того времени достижения строительного искусства. Греция знала только колонну и балку и довела их сочетание до совершенства. Рим нашел купол — и родился Пантеон. Стрельчатые своды, аркбутаны и контрфорсы готики — результаты математического расчета, давшие возможность создать совершенно новый, небывалый стиль, в котором конструктивные, строительные и архитектурные проблемы слились воедино в совершеннейшем синтезе. Строителям Нотр-Дам или Кёльнского собора даже в голову не приходило использовать колонны, как это сделано в Акрополе. Они познали тайну распора и, вынеся конструкцию наружу, создали нечто новое, не менее прекрасное, чем храмы Акрополя или римского Форума.

Почему же сейчас, в век железобетона, стекла и стали, в век, когда можно решить любую, самую на первый взгляд фантастическую конструктивную задачу, мы стыдимся красоты самой конструкции, скрываем ее за допотопной гранитной облицовкой и декоративной мишурой «красивых» фасадов бесстильного начала двадцатого века?

Первые железнодорожные вагоны делали похожими на дилижансы, паровозы украшали металлическим кружевом, на первых небоскребах где-то на тридцатом — сороковом этаже ставили греческие портики. Все это

вызывает у нас сейчас улыбку. Но не повторили ли мы то же самое, построив высотную гостиницу «Ленинградская», в которой, когда входишь, невольно, как в храме, хочется снять шапку перед золотым алтарем, оказывающимся, к величайшему твоему удивлению, просто входом в лифт.

К счастью, это уже позади. Стадион в Лужниках, брюссельский павильон, проекты перекрытия стадиона «Динамо» в Москве, здание панорамного кинотеатра — это уже ростки нового. И в этом больше следования традиции великих эпох архитектуры прошлого, чем в простом, а еще хуже — модернизированном воспроизведении старых фасадов.

И все-таки стадионы и выставочные павильоны — это еще не решение проблемы. Вряд ли можно утверждать, что мы нашли образ жилого здания, хотя сдвиги в этой области уже заметны — в Юго-Западном районе Москвы, например. Еще сложнее со зданиями административных или культурно-общественных учреждений, с теми зданиями, которые требуют, как у нас часто говорят, «парадности» — слово не очень удачное, поэтому заменим его и скажем иначе: которые требуют наиболее яркого выявления своей общественной сущности.

Последний конкурс на проект Дворца Советов показал, что хотя образ его еще не вполне определился, но в некоторых проектах явно уже видно стремление авторов говорить языком простым и ясным. Ведь в самой основе советской архитектуры заложены прин-

ципы простоты, демократичности, ясности замысла, опирающегося на достижения современной техники. Пышная тяжеловесность и ложная величественность ей враждебны.

Вот почему так радостно было увидеть наш павильон на брюссельской выставке (пока, к сожалению, только на фотографиях и в кино, но скоро мы увидим его и в Москве) — простой, логичный, приветливый, как бы говорящий тебе: «Зайди сюда!» И хочется зайти.

Архитектура Италии — та, что привлекает к себе миллионы туристов,— тоже приветлива. Ее соборы и дворцы, маленькие церквушки и старинные улочки манят к себе, с ними рядом чувствуешь себя легко и радостно. Но, увы, совсем другое ощущаешь ты, когда сталкиваешься с архитектурой тридцатых годов. Я видел в Риме эти грандиозные, напыщенные, полные риторики сооружения.

Величие древнего Рима — вот что должно было вдохновлять художников и архитекторов самого невеличественного периода в истории Италии. Императорский Рим, но осовремененный, стилизованный, втиснутый в рамки железобетона. Наиболее характерный пример — ансамбль Всемирной выставки в Риме (которой, правда, так и не суждено было открыться). Архитектурным центром ее является громадный белый параллелепипед, каждый этаж которого состоит из сквозной аркады. Этажей шесть, в каждом из них со всех четырех сторон тридцать шесть арок, в каждой

из них должно было быть по скульптуре — итого двести шестнадцать арок, двести шестнадцать скульптур. Все скульптуры поставить не успели, но, судя по надписи на этом непонятном здании, которое, как мне сказали, задумано было как модернизованный парафраз Колизея, они должны были изображать великих сынов Италии. Надпись гласит: «Народ поэтов, артистов, героев, святых, мыслителей, ученых, мореплавателей и переселенцев». Не правда ли, величественно? И «народно»... И многозначительно...

Не отстал от выставки по своей напыщенной многозначительности и гигантский Форум Муссолини, именуемый теперь нейтрально «Форо Олимпико». Опять та же торжественная симметрия, и мужественная якобы простота геометрических объемов, и не менее мужественные лаконичные надписи — только на этот раз не на стенах домов, а выложенные из мрамора у тебя под ногами: «дуче, дуче, дуче, дуче, дуче...» — через всю аллею от одного здания к другому, или более чем странные лозунги, вроде: «Чем больше у тебя врагов, тем ты сильнее». И венец всей этой патетики — гигантские мраморные скульптуры, растыканные в великом множестве по всему стадиону,— низколобые атлетические молодцы с могучими челюстями и «устремленными в будущее», «волевыми» взглядами. Особенно хорош один из них, встречающий тебя у входа,— десятиметровый, решительно шагающий, с противогазом на голове, покоритель Абиссинии, нет, не Абиссинии — всего мира...

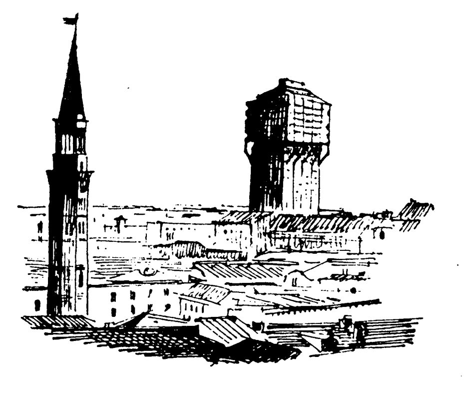
За двадцать с лишним лет своего господства фашизм успел испоганить множество итальянских городов. Особенно обидно, что это коснулось и площади св. Петра. Удивительный ансамбль ее поражал в свое время, кроме всего, еще и тем, что ты попадал на просторную, охваченную знаменитой берниниевской колоннадой площадь, пройдя сквозь замысловатую путаницу близлежащих кварталов. Контраст узеньких кривых улочек и неожиданно распахивавшейся пред тобой площади подчеркивал ее величие. Теперь от набережной Тибра до собора пробита широкая Виа делла Кончиляционе (улица Примирения — очевидно, государства и церкви), завершенная, кстати, уже после войны, прямая, широкая, с двумя рядами тяжелых каменных фонарей. С точки зрения эвакуации многотысячных толп, заполняющих площадь в дни религиозных празднеств, может быть, это и разумно, с точки же зрения архитектурной — это бесцеремонное вторжение в художественно законченный ансамбль, созданный величайшими мастерами Возрождения.

К счастью, фашизму не удалось исказить истинный облик итальянских городов, как ни старались архитекторы «имперского» стиля во главе с Пьячентиной. Сохранившиеся еще кое-где ликторские пучки и топорики на пустынных плоскостях стен бывших фашист-



ских учреждений только подчеркивают красоту и изящество старинных площадей и дворцов, которыми так богата Италия.

Но не будем все сваливать на период фашистского господства — послевоенная архитектура тоже далеко не всегда хороша. Когда речь шла о ее современности, подразумевалось умение выразительно использовать все неограниченные возможности последних достижений строительной техники. Но когда эти достижения становятся самоцелью, когда в трех шагах от Палаццо Реале (королевского дворца) в Турине, памятника архитектуры XVII века, вырастает двадцатиэтажная башня каких-то конторских учреждений, это — кощунство, ничуть не меньшее, чем Виа Кончиляционе в Риме. Такое же страшилище построено и в Милане, на площади Республики, с той только разницей, что в нем не двадцать, а тридцать этажей. В капиталистическом мире участки продаются и покупаются, и, если ты его купил, можешь на нем строить, что тебе заблагорассудится, плюя с высоты тридцати этажей на все окружающие тебя дворцы и замки. Хорошо еще, что в Венеции все так тесно застроено или просто грунт ее островов непригоден для небоскребов, а то бедной кампанилле на площади Сан-Марко пришлось бы совсем плохо. Повезло и Флоренции. А ведь мог же найтись какой-нибудь богатый любитель высотных зданий, который воздвиг бы свою махину где-нибудь возле знаменитого моста Понте Веккио, благо война позаботилась о том, чтобы расчистить от зданий берега



реки Арно. Но, к счастью, не нашелся, а набережные уже отстроены. Необходимое добавление. За то время, что писались и подготавливались для отдельного издания эти очерки, Милан успел «обогатиться» еще одним сооружением, своей бесцеремонностью затмившим все до сих пор мною виденное. Эта девяностометровая элеваторοподобная башня (называется она «Торре Веласка» — башня Веласкеза и состоит из контор и квартир) построена в непосредственной близости от знаменитого Миланского собора. Насколько она сроднилась с окружающим пейзажем читатель может судить, взглянув на прилагаемый рисунок.

А вот Римский вокзал нашел свое место, вписался в город. И очень мирно сосуществует с каменными остатками вала Сервия Туллия, которым в этом году минуло ни больше ни меньше как две тысячи триста лет. Есть даже какая-то внутренняя гармония в этом соседстве изъеденного временем камня с белоснежными гранями стен и стеклянными лентами окон нового вокзала. Авторы его — Лео Калини, Массимо Кастелацци, Васко Фадигати, Эудженио Монтуори, Ахилле Пинтонелло, Аннибале Вителоцци.

И не только Римский вокзал нашел свое место. Я видел много зданий — и вокзалов, и стадионов,

и рынков, и промышленных и конторских сооружений,— в которых очень ярко выражена современность и которые великолепно уживаются со своими соседями прошлых веков. Ведь войти в существующий ансамбль вовсе не значит подражать ему. Надо просто найти свое место и, обосновавшись на нем, заговорить своим собственным языком, не стараясь перекричать соседей. А язык этот — логика, экономичность и красота, рожденная не слепым повторением прошлого, но выражением твоего отношения к миру. Кстати, одним из ярчайших примеров такого ансамбля является Красная площадь в Москве. Скромный по размерам, выдержанный в совершенно других формах, чем остальная площадь, мавзолей Ленина не только вписался в давно существующий ансамбль, но стал его композиционным и идейным центром.

Всему свое время. Время колонн и пилястр кончилось. Поблагодарим же их за большую проделанную ими работу и оставим их в покое. Настало время сводов-оболочек, органического стекла, пластмасс, которое требует возобновления дружбы архитектора и инженера. Поверим же этой дружбе и не будем украшать электровозы кружевами.

Разговор об архитектуре, кажется, несколько затянулся. Чтобы как-то искупить свою вину, расскажу о вещах более живых.

Расскажу о двух встречах, которые особенно за-

помнились мне, вероятно потому, что обе они какие-то очень уж итальянские.

Первая из них произошла на дороге из Рима в Альбано — живописный городок на берегу озера, место многочисленных экскурсий, куда по воскресеньям, кроме туристов, съезжаются в большом количестве и римляне, просто так: вырваться из города, отдохнуть, полюбоваться природой, подышать воздухом.

Заранее оговорюсь, что действующие лица этой маленькой истории, само собой разумеется, говорили по-итальянски — другими словами, я ничего или почти ничего не понимал из того, что они говорили. Но самые события и участники их были настолько выразительны, что общий ход происшедшего я уловил сразу, а позднее мои спутники помогли мне восстановить и словесную ткань этих событий.



Итак, в один из воскресных дней мы — я, Лева и еще несколько человек из нашей советской колонии — поехали в Альбано. Поехали на двух машинах. Примерно через час одна из них испортилась. Началась обычная возня с мотором, поиски пропавшей искры, беганье куда-то за недостающим инструментом.

Кто-то предложил, пока тянется вся эта волынка, пройти по дороге вперед. Пошли. Метров через двести натолкнулись на хибарку, почти со-

всем скрытую зеленью. Оказалось, что это винный склад, довольно грязный и неуютный, но всем нам очень понравившийся. Вернее, не он, а само местоположение его — дорога здесь шла над крутым обрывом, а по другую сторону заросшей густым кустарником теснины, на еще более крутом каменистом обрыве, лепился небольшой городишко, названия которого никто из нас не знал.

Мы заказали вина. Хозяин — очень толстый, в широченных парусиновых брюках и рваной красной майке, сквозь которую пробивалась густая черная шерсть, а голова была голая, как бильярдный шар,— долго выяснял, какое вино нам нужно, потом принес его в двух больших стеклянных кувшинах. Тут же возился с велосипедом долговязый парень с бельмом на глазу. Хозяин что-то ему крикнул, парень оторвался от велосипеда, скрылся в складе и через минуту вышел, неся четыре стакана, которые старательно вытирал собственной рубашкой.

Мы расположились на бочках у входа в сарай. Потягивая холодное кисленькое вино, любовались пейзажем — каменистым обрывом, громоздящимися друг на друга домиками с черепичными крышами и обязательной над всем этим колокольней. Парень возился со своим велосипедом. Хозяин куда-то исчез. Было тихо и мирно, только цикады без умолку звенели, совсем как у нас в Крыму.

Вскоре где-то на дороге послышался звук мотора, и к сараю подкатил на ярко-красном мотороллере сол-

дат. Еще издали завидев его, долговязый парень бросил свой велосипед и поспешно скрылся в сарае.

Солдат прислонил свой мотороллер к дереву, вытащил из кармана пачку сигарет и, усевшись на бочке невдалеке от нас, закурил. Это был красивый статный парень, очень смуглый, в кокетливо сдвинутой на затылок красной берсальерской феске с длинной синей кисточкой, небрежно переброшенной через плечо на грудь.

Через минуту возле него оказался хозяин с таким же, как у нас, кувшином в руках, на который солдат даже не взглянул.

— Чао, Пепино,— сказал хозяин.

Солдат ничего не ответил. Хозяин расстелил на одной из бочек чистенькую салфетку (нам он этого не предложил) и ловко, одним коротким движением, наполнил до самых краев стакан, не пролив ни капли. Все это сопровождалось веселым смешком и какими-то возгласами, в которых сквозило явное заискивание. Долговязый парень, забыв о велосипеде, стоял, прислонившись к косяку двери, и с любопытством за всем следил, слегка приоткрыв рот.

Солдат залпом осушил стакан и, так и не взглянув на хозяина, спросил:

— Где Розина?

В то же мгновение долговязый парень был послан куда-то на велосипеде, очевидно за Розиной, а толстяк, все так же дружелюбно похохатывая, подсел к солдату и налил на этот раз не один, а два стакана вина.

Но солдат, ни слова не сказав, встал, взял свой стакан, ловко подкатил ногой маленький пустой бочонок и сел рядом с нами, обхватив бочонок ногами.

— Выпьем за любовь,— коротко сказал он и обвел нас всех своими красивыми черными злыми глазами.— За любовь, которой нету на земле.

Становилось интересно. Мы выпили за любовь, которая все-таки есть на земле. Солдат отрицательно качнул головой.

— Нету ее на земле. Нету!

Тут он вдруг решительно засучил рукав и обнажил до локтя волосатую, загорелую, мускулистую руку с вытатуированным на ней именем «Розина».

— Джироламо! — крикнул он.

Хозяин рысцой подбежал.

— Ты видишь, что тут написано?

— Вижу,— ответил хозяин.

— Что?

— Розина.

— Чье это имя?

Толстяк миролюбиво улыбнулся.

— Ты же знаешь, чье это имя, Пепино, зачем же ты спрашиваешь?

— А синьоры не знают. Скажи им!

— Ну, это имя моей дочери. Младшей дочери...

— А сколько мне было лет, когда я это имя на своей руке написал? А?

Пепино не сводил теперь своих черных злых глаз с толстяка, но тот все так же дружелюбно улыбался.

— Семнадцать, Пепино.

— А теперь мне сколько?

— Двадцать один.

— Так...— Пепино еще выше засучил рукав и, согнув руку в локте, заставил толстяка пощупать бицепс.

Тот с готовностью потрогал вздувшийся под коричневой кожей шар и, одобрительно хлопнув солдата по спине, сказал:

— Молодец, Пепино, молодец...

Нам тоже предложено было удостовериться в крепости Пепининых мускулов, после чего он, старательно застегнув рукав, спросил:

— Можно на эту руку опереться, а?

Мы дружно сказали, что можно.

— А вот меня заставляют вместо этого сжимать ее в кулак. Вот что меня заставляют делать.— Он сжал кулак так, что косточки на сгибах побелели.— А что делают кулаком, Джироламо? Знаешь ты это или нет? Отвечай!

Джироламо понимающе кивнул головой — знаю, мол, очень даже знаю,— а у Пепино, рука которого могла служить опорой любой женщине, у нашего бравого Пепино на глазах появились вдруг слезы, самые настоящие слезы.

Засунув пальцы в густую черную шевелюру, он несколько секунд молча просидел так, подергивая подбородком, потом вдруг заговорил, сначала тихо, потом все громче, громче.

Он говорил о том, что лучшего, чем он, шофера в Сессино нет, что за три года у него не было ни одной аварии, хотя меньше чем по сто километров в час он не ездит, что вот он купил мотороллер, а через год, когда уйдет из армии, продаст его и купит «фиат», что Розина все это знает, как и то, что он ни разу, ни в чем ее не обманул и с семнадцати лет, когда в первый раз поцеловал ее, ни на одну девушку не взглянул, и что вот теперь, когда до его возвращения домой остался какой-нибудь год, она, воспользовавшись его отсутствием, стала засматриваться на парней, он это точно знает, и даже знает, на кого именно, и так далее, в том же духе...

Монолог этот произносился довольно долго, сначала сидя, потом стоя, прерываемый только для того, чтобы осушить очередной стаканчик вина, и кончился неожиданно вдруг тем, что Пепино полез в боковой карман, вытащил бумажник, из него конверт, а оттуда фотокарточку. На карточке была изображена прекрасная блондинка с мокрой, по-модному вывернутой нижней губой, томным взглядом и поразительных размеров грудью.

— На, взгляни,— кинул он карточку толстяку Джироламо. Тот внимательно стал ее рассматривать.— А теперь переверни.

На обороте был написан какой-то адрес — нам тоже его показали.

— Ясно? — Пепино взял карточку, положил ее обратно в конверт, конверт — в бумажник, бумажник —

в карман и застегнул пуговицу. — Лили Брэдли! Миллион долларов за картину!

А может, он назвал и другую фамилию, сейчас не помню, но, в общем, речь шла о какой-то знаменитой американской киноактрисе, которая, как выяснилось из дальнейшего рассказа, явно была расположена к нашему Пепино. А рассказ заключался в следующем. Дней десять тому назад они с Джованни Кастеллани — все его знают, сын мельника из Гроттафератта, великий бабник,— стояли в почетном карауле у могилы Неизвестного солдата. А нужно сказать, что берсальеры — род войск, в которых служил Пепино,— это нечто вроде гвардии, в функции которой входит охрана президентского дворца и прочих парадно-официальных мест. И вот стоят они уже полчаса у венка, как вдруг подъезжает длинная белая машина и из нее выходят две красавицы.

— Одна, вот эта вот, Лили Брэдли, я ее сразу узнал, другая, поменьше, черненькая, все время куталась в меха. Вышли, постояли, посмотрели, потом взяли из машины фотоаппарат и сфотографировали нас с Джованни. Потом подошли ближе, опять постояли, и тут Лили Брэдли, посмотрев на меня, сказала что-то своей приятельнице, и обе рассмеялись. Потом Лили Брэдли вынула из сумочки эту самую карточку, написала на ней свой адрес — вы его прочли: отель Плацца — лучший отель на Корсо,— подошла ко мне и как ни в чем не бывало расстегнула вот этот самый карман и сунула карточку туда. Потом сама застегнула

карман, улыбнулась так, что я чуть сквозь землю не провалился, а Джованни весь позеленел от злости, взяла подругу под руку и села в машину. На прощание еще помахала ручкой... Ну, что скажешь, Джироламо?

Джироламо ничего не сказал, а Пепино хлопнул себя по карману.

— Миллион долларов за картину! В Голливуде. Она снимается, а я только в постели работаю. Недурно, правда? — Он весело засмеялся, сверкая белыми крупными зубами, среди которых один был золотой, вставленный, по-видимому, из кокетства, что делают часто и у нас лихие хлопцы, потом сразу вдруг умолк, расстегнул воротник, вытащил оттуда крохотный медальон на цепочке и, раскрыв его, перекрестился и поцеловал.— И вот не пошел! Святая мадонна, не пошел!

На этом разговор прекратился, так как на дороге показался велосипед с долговязым парнем и очень хорошенькой белокурой девушкой, сидевшей перед ним на раме.

Пепино встал. Поправил свою красную феску над курчавым чубом, перекинул синюю кисточку на грудь и, засунув руки глубоко в карманы, стал ждать.

Велосипед подъехал, девушка легко соскочила с него и сказала, улыбаясь:

— Здравствуй, Пепино! Как хорошо, что ты приехал.

Пепино ничего не ответил. Стоял, засунув руки в карманы, и молчал, глядя куда-то в сторону.

Розина была удивительно хороша. Невысокая, очень стройная, с поразительно приятным нежно-розовым цветом лица, голубоглазая и золотоволосая. Сейчас, чуть зардевшись, она стояла перед нами, сжимая в руке носовой платочек, и немного растерянно смотрела то на отца, то на Пепино, то на нас.

— И надолго ты приехал? — спросила она.

Пепино вынул из кармана пачку «Национали», долго вставлял сигарету в мундштук, потом щелкнул зажигалкой и только тогда посмотрел на Розину.

— Карло? — спросил он.

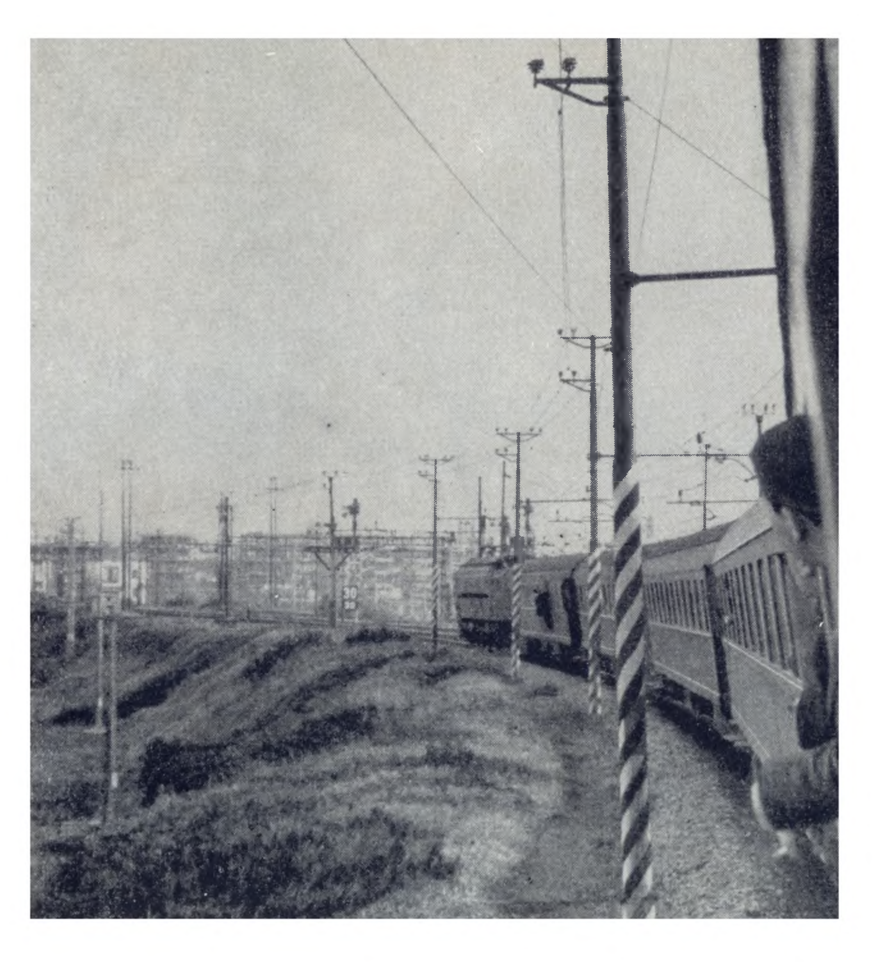
Розина опустила глаза.

— Карло? — повторил Пепино.

Розина молчала. Пепино перевел взгляд на отца — тот старательно отколупывал что-то на своей рваной майке.

— Карло? — в третий раз спросил Пепино и, так как Розина продолжала молчать, вопросительно посмотрел на долговязого парня, очевидно ее брата. Тот слегка наклонил голову.

Дальнейшее произошло с какой-то невероятной быстротой. Пепино сделал шаг вперед, дважды очень быстро и звонко ударил Розину по щекам и, ни на секунду не задерживаясь, побежал к оврагу. У каменного парапета, отгораживавшего дорогу, остановился, быстро вдруг вернулся, вынул из кармана складной нож, бросил его на бочку и, ловко перепрыгнув через



«Рапидо» — 120 километров в час — мчит нас по Италии...



Дождливый Турин...

Милан...



Тихая Равенна.

Неаполитанский залив с Везувием... Капри... Печальная спина Винченцо Вердолива.



И всюду, в каждом городе, дети — такие же, как и везде, такие же, как в Киеве, Москве, Ленинграде...



парапет, скрылся в овраге, успев по пути дать две не менее звонкие затрещины Розининому брату.

Мы четверо, признаться, настолько опешили и растерялись, что буквально не успели вмешаться в эту мгновенную расправу. Бедная Розина, пунцовая и мокрая от слез, стояла все на том же месте, опустив руки, боясь поднять глаза. Старик толстяк тоже был растерян, потирал свою ставшую вдруг красной лысину и молчал. Потом сорвался с места и сразу же вернулся еще с одним кувшином вина.

Странное дело, вино в Италии не возбуждает, а успокаивает. А может, то было какое-то особое вино, вроде валерьянки. Но так или иначе к моменту, когда к хибарке подъехали наши машины, Розина совсем успокоилась и стала даже волноваться, почему так долго нет Пепино.

До этого она тихо плакала, кусая свои хорошенькие губки, потом начала, вытирая платочком слезы, причитать:

— Я так и знала, так и знала... Он такой вспыльчивый, такой горячий... Я ему говорила — только не в берсальеры, только не надевай этой проклятой красной фески... Терпеть ее не могу. И перья эти на касках тоже... Как попугаи... А римские женщины с ума по ним сходят. Дуры!.. Я говорила, есть тут рядом зенитный полк, полтора километра. Приходил бы каждое воскресенье. А тут одно пропустил и другое, а потом говорит — в карауле был. Знаю я эти караулы... Вот и пошла назло ему с Карло... Ну и что? Нельзя

уж и в кино пойти? Я вас спрашиваю, а с кем я пойду, если его нет? С кем? С безногим Курцио? Или с косоглазым Витторио, от которого круглые сутки вином разит? Вот и пошла с Карло, назло ему...

И тут же забеспокоилась:

— Сколько уже времени прошло? Посмотрите на ваши часы. Двадцать минут? Ну что он там делает? Я знаю, Пепино сильный парень, сильнее всех в Сессино. Вы не видали его мускулы? Во какие! А когда разденется... Вы попросите его раздеться, он охотно это сделает. Тут один художник приезжал, рисовал его, ему тогда еще восемнадцати лет не было. Очень его хвалил. По двести лир в час платил. Советовал даже в Рим поехать, там еще больше, говорил, платят. Но тут подвернулись курсы шоферов, и я очень рада. Ну его, этот Рим... И чего он всем так нравится? Святая мадонна, уже полчаса прошло, а его все нет... И чего я только с Карло пошла? Он кузнец, как буйвол здоровый, кулаком в висок — и все...

Но тут появился наконец Пепино. Веселый, смеющийся. перескочил через ограду и сразу же потребовал вина.

— А ты почисть меня, Розина. Малость все-таки испачкался. И подлатай.

Он был в песке и мелу, левый рукав до локтя разорван, под глазом синяк. Розина моментально стащила с него его защитную, американского покроя куртку, принялась зашивать, а он в одной майке, поигрывая бицепсами, с деланой неохотой стал расска-

зывать, как он отделал Карло, который, вероятно, в это же время где-нибудь в кабачке в Сессино, за стаканом же вина, хвастался, как он расправился с этим берсальерчиком из Рима.

Розина была в восторге, глаза ее блестели: «Так ему и надо! Молодец! И ты ему еще дашь, если подвернется, правда?» Толстый Джироламо тоже сиял и только подливал вина. Подсел и брат, которому также налили.

— Хотя и не стоило бы! — Пепино хлопнул его по шее.— Хорош брат, на сестру доносить. В следующий раз зубы выбью.

И все расхохотались этой милой шутке.

Вскоре мы уехали. Все четверо участников этой маленькой, разыгравшейся на наших глазах драмы махали нам руками, а Пепино, у которого, как у всякого итальянца, было развито чувство красивого, требующего какой-то законченности, последней точки, крепко поцеловал свою Розину в губы. Она была на седьмом небе от счастья.

Не знаю только, что сказала бы она и с каким Карло пошла бы на следующий день в кино, если бы узнала, что в тот же самый вечер, в Альбано, мы опять встретились с Пепино. Он ехал на своем ярко-красном мотороллере, а за его спиной, крепко уцепившись за него, сидела огненно-рыжая премилая толстушка, и все это вместе — красное и рыжее — было очень даже красиво. Увидев нас — мы обогнали его на своей машине,— он весело помахал нам рукой, а потом мно-



гозначительно приложил палец к губам. И тут я невольно и, по-видимому, не без основания подумал, что там, у винного склада, когда он так мило целовал изображение мадонны на своем медальоне, он слегка покривил душой. Да простит ему это пресвятая дева! И Розина тоже...

Место действия второго рассказа — Венеция, Пьяццале. Я сижу на каменных ступенях набережной, в нескольких шагах от колонны Льва св. Марка, и курю.

Согласитесь, очень приятно начинать свой рассказ именно с этих слов — Венеция, Пьяццале, Лев св. Марка... В детстве у меня была книга «Таинственная гондола». Кто ее автор, не помню, содержания тоже не помню. Помню, что издание было Гранстрема, обложка красная, тисненная золотом, и что на первой цветной картинке было изображено венчание дожа с морем — громадный, величественный корабль «Буцентавр», и на носу его в забавном колпачке маленькая фигурка дожа, бросающего перстень в воды Адриатики.

Тогда — мне было лет восемь или девять — я написал свой первый рассказ. До конца я его не довел — то ли надоело писать, то ли получил «неуд» по арифметике и было уж не до рассказа, а может, про-

сто потому, что начинать всегда легче, чем кончать,— словом, до конца не довел. Помню только, что принимали там участие и дож, и «Буцентавр», и что начинался он на Пьяццале у колонны Льва св. Марка.

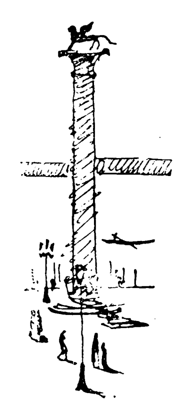
И вот сейчас, почти через сорок лет, я вернулся к тому же месту.

Итак, Пьяццале, Лев св. Марка и я, сидящий и курящий на ступенях набережной. Раннее утро. Туристов еще нет. Передо мной сверкающая на солнце лагуна и остров Сан-Джорджо с колючей кампаниллой.

Десятка полтора гондол — черных, длинных, изящных — покачиваются на волнах, ждут пассажиров. Тут же, шагах в десяти от меня, гондольеры, рассевшись на ступенях, покуривают и о чем-то, как мне кажется, спорят, хотя, вероятнее всего, это обычная утренняя беседа. Один из них, пожилой, в выцветшем пиджаке с залатанными локтями, старательно моет свою гондолу щеткой. Что-то мурлычет себе под нос.

Хорошо. Солнышко припекает, голуби воркуют. Сижу себе и курю. На Пьяццале, в Венеции...

И вдруг — я не верю своим ушам — кто-то выругался по-русски. По всем правилам. Здесь, в десяти шагах от Палаццо Дожей. Неужели этот самый пожилой гондольер в выцветшем пиджаке? Ну да, уронил щетку в воду и сейчас, засучив



рукав, пытается ее поймать. А она, проклятая, мирно себе покачивается, не дается в руки.

Я не выдержал, подошел и спросил что-то по-русски. Он выпрямился, улыбнулся, ответил. Так и состоялось наше знакомство.

Больше часа провели мы с Сильвано Инкорпоре (сначала я никак не мог понять, что это его фамилия) в его ветхой, вот уже тридцать лет бороздящей венецианские каналы гондоле. Объехали остров Сан-Джорджо, потом по Каналу Гранде добрались до вокзала, повернули обратно, стали кружить по бесчисленным узеньким, довольно грязным каналам.

Сильвано неторопливо греб своим единственным веслом, стоя на корме в характерной для его профессии позе, чуть наклонившись вперед. Он совсем не был похож на гондольера, какими мы их себе представляли,— не стройный, молодой, с жгучими глазами и пленительным тенором, а немолодой уже, коренастый, лысеющий, беззубый, с хриплым голосом, к тому же глухой на одно ухо. Только глаза были у него хороши — спокойные, умные, какие бывают у людей, которые не только много видели, но и многое поняли из того, что видели.

А Сильвано видел много.

Конечно же мы вскоре обосновались с ним в маленькой остерии, в которую шагнули прямо с его корабля. И тут же за тарелкой чего-то — чего, я так и не мог понять — очень острого и скользкого, за ста-

канчиком все того же кьянти я многое узнал о его жизни.

Он сносно говорил по-русски. Оказалось, что в сорок втором году мы находились с ним в одних и тех же местах — в районе Купянска, потом в Сталинграде. Он был сначала конюхом, а когда начались перебои с горючим, подвозил боеприпасы для дальнобойной артиллерии. Как и все итальянцы, он нещадно ругал немцев, покряхтывал, говоря о русской зиме, на память о которой у него остались синие, всегда шелушащиеся уши. В январе сорок третьего он попал в плен. Отсидел восемнадцать месяцев в лагере, из них полгода проработал штукатуром (он это тоже умеет), в августе сорок четвертого возвращен был на родину.

По-русски говорил он довольно бойко, только часто путал местоимения, а о себе говорил преимущественно в третьем лице женского рода: «Она очень соскучилась по своей жене, почти три года не видела...»

Был он и в Киеве, когда служил связным и поваром у какого-то штабного артиллерийского «тененте» — лейтенанта.

— Хороший город. Как Италия. Каштанов много. Больше нигде Россия не видела каштанов... Где жила? Садик, памятник, мужчина, большие усы вниз. (Я понял, что возле университета, где памятник Шевченко.) Потом Полтава. Большая деревня, названия не помню.

Об этом периоде своей злополучной военной жизни он вспоминал с удовольствием. Все восхищался,

как там красиво,— и леса, и поля, и речки, и девушки...

Я вспомнил, что население тех сел, где стояли итальянцы, не очень на них обижалось. Веселые, мол, славные, хорошо поют, немцев не любят, только с курами неладно — на улицу не выпускай, всех покрадут.

Так мы сидели с Сильвано за маленьким столиком в уголке; он рассказывал, я слушал. Потом он как-то странно, с улыбочкой, взглянул на мою почти не тронутую тарелку, затем на меня и сказал:

— Невкусно, а? Тогда я знаю что. Моменто...— И скрылся.

Он довольно долго отсутствовал, наконец появился, все в том же выцветшем пиджаке, но уже в светлой рубахе и с галстуком. С торжественным видом вытащил из кармана самую что ни на есть настоящую поллитровку и, смеясь до ушей, сказал:

— Белая голова! Прима!

Я попытался вынуть деньги, но он даже обиделся.

— Нехорошо... Не надо. Для русской человек подарок. А ты в России мне кьянти. Хорошо? — И рассмеялся своей шутке.

Хозяин принес две рюмочки, но Сильвано потребовал третью.

— Сын придет. Аугусто. Никогда не пил.

Пока мы дожидались сына, Сильвано принес большую луковицу и стал нарезать ее тоненькими, аккуратненькими ломтиками. Резал и все головой качал.

— А черный хлеб нет. Нет в Италии.

Потом пришел сын Аугусто, рыжий круглолицый парень с большими красными руками, все время смущавшийся и молчавший и только после водки несколько оживившийся.

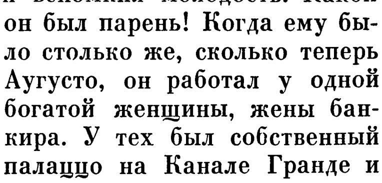
Вообще же с Аугусто дело было плохо. С детства правая рука у него была сухая, поэтому стать гондольером, как отец, он не мог. Сильвано очень этим печалился, так как у Аугусто был хороший слух и низкий красивый голос, который во много раз увеличивает чаевые гондольеров. Но что поделаешь, рука сухая. А парню уже восемнадцать лет. Пытался петь в одном ресторанчике на Рива Скьявони, но джазовые песенки у него не получаются,— рассчитали. Учиться пению нет денег. Работает сейчас продавцом на мосту Риальто — всякие там венецианские сувениры и безделушки. Все-таки хоть какая-то да работа.

После второй рюмки Сильвано покраснел, оживился и стал убеждать сына, чтобы тот пошел за гитарой и что-нибудь нам спел. Но Аугусто засмущался и сказал, что на гитаре лопнула струна, а без гитары он петь не может.

Потом за нашим столиком появилась до неправдоподобия тоненькая девушка с копной густых черных, перевязанных красной ленточкой волос, и мне ее представили как невесту Аугусто — Лючию. Тут Аугусто повеселел, они с Лючией о чем-то, перебивая все время друг друга, бойко затараторили и вскоре ушли, преувеличенно вежливо с нами простившись.

Старик вдруг загрустил. Вот, пожалуйста, любят друг друга, и девушка она хорошая, скромная, работящая, хозяйственная — работает на том же мосту, в магазине открыток и альбомов с видами Венеции, — и через годик можно было бы уже пожениться. А на что жить? Сам Сильвано с трудом сводит концы с концами. Семья небольшая, но все-таки пять человек: он, жена, мать жены — старая больная женщина, печень, почки и вообще восемьдесят лет. И двое детей. Аугусто, правда, зарабатывает, а Джузеппе всего семь лет, в этом году должен в школу пойти.

Выпив еще рюмку, он заговорил о том, что вот уже и старость подошла и на гондоле своей он уже больше тридцати лет работает, а вот теперь на него начали косо посматривать: туристы, особенно англичанки и американки, любят гондольеров молодых, красивых, а он... Но тут он вспомнил молодость. Какой он был парень! Когда ему было столько же, сколько теперь Аугусто, он работал у одной богатой женщины, жены банкира. У тех был собственный палаццо на Канале Гранде и две гондолы — его и ее — с коврами, подушками, все, как полагается. Банкир был стар, жена — молода. И Сильвано был молод. Волосы у него были черные, кудрявые, зубы белые, и ходил он тогда



в белой рубахе с раскрытым воротом и в черных узких штанах, подпоясанных красным поясом. Петь он не пел, голоса у него никогда не было, но зато... В общем, хозяйка была им вполне довольна. Около года он у них проработал. Как сыр в масле катался. А потом... Что ж, потом — обычная история. Богатым синьорам быстро все надоедает. Появился Гульельмо — наглый, нахальный парень, бывший матрос, на голову выше Сильвано. Вот его и рассчитали... Но зато год пожил. Потом на заработанные деньги купил себе эту старушку гондолу, отремонтировал ее и вот живет до сих пор. Ну, а потом женился, пошли дети...

Тут он тяжело вздохнул.

Пока он говорил о той счастливой поре, когда ходил подпоясанный красным поясом и зубы у него были белые, а волосы черные, весь он как-то преобразился, подтянулся, даже вроде помолодел. Глядя на него, смело можно было поверить, что лет этак тридцать, даже двадцать тому назад он довольно-таки бойко покорял женские сердца. Но когда рассказ дошел до женитьбы и детей, он стал серьезен и даже грустен.

Посмотрев на меня. спросил:

— Дети есть?

Я сказал, что нет.

— Правильно! — Он кивнул головой, но, заметив мое недоумение, добавил: — Хороший сын — хорошо, плохой — плохо.

Я удивился: Аугусто произвел на меня очень приятное впечатление, да и сам старик, по всему видно было, гордился им. Но выяснилось, что кроме Аугусто и Джузеппе, у него был еще один сын, старший,— Микеле.

— Микеле, Микеле...— с грустью сказал он.— Такой хороший был. Когда пикколо, маленький,— хороший-хороший. Как анджело. Глазки — небо. И волосы — тонкий, тонкий, золотой, до сих пор,— он коснулся плеча.— Картинка, анджело! И добрый-добрый. Целовал много. Потом — больше, больше, больше...— Сильвано встал и показал, каким большим стал Микеле, на голову выше его.— Шестнадцать лет. Очень красивый, большой и много-много девочек.

Но девочки — это было бы еще полбеды. Микеле вступил в организацию «авангардистов» — молодежную фашистскую организацию. Тогда все или почти все подростки состояли в «авангардистах» — иначе нельзя было, но Микеле увлекся этим и в двадцать лет стал заправским фашистом. Ходил в черной рубахе с черепом, чем-то там командовал, на всех наводил страх. Стал пить, по ночам пропадал в ресторанах. Потом, в тридцать четвертом, отправился в Абиссинию; вернулся оттуда весь в крестах и медалях. Повесил в комнате громадный портрет Муссолини, стал приводить своих товарищей — наглых крикунов, которые целый вечер пили вино, хвастались и распевали фашистские песни. Дошло до того, что как-то вся эта пьяная компания, напившись, пристала к Сильвано,

чтобы он вступил в фашистскую партию — из-за него, мол, Микеле не повышают в должности,— и когда он отказался, говоря, что в политику никогда не вмешивался, они так избили его, что он до сих пор на одно ухо не слышит.

В этом месте Сильвано часто-часто заморгал глазами, потом, взяв нож, долго что-то вырезывал на столе.

— А сорок четвертый год убили Микеле. В Анцио, англичане, десант. Командир батальона был. Бомба — тр-рах! — ничего не нашли. Нет могила...— тут он заплакал.

Потом вынул из бокового кармана ветхий бумажник и показал мне фотографию Микеле. С небольшой, помятой от долгого ношения, потрескавшейся карточки, сощурив глаза, смотрел на меня красивый белокурый парень с маленькими черненькими усиками, в фашистской форме, весь украшенный знаками отличия. Взгляд был веселый, тонкие губы чему-то улыбались. Рука лежала на пистолете.

— В Сталинграде,— сказал Сильвано, пряча карточку,— сержант, русский, очень похож Микеле. Высокий, волос длинный, усы маленький, но белый. Валя. Фамилия не помню. Конвой. Чай, хлеб, табак давала. Уши морозил, перевязывала... А Микеле уши бил...

Больно было смотреть на этого несчастного отца. Ведь он любил своего сына. И конвоира Валю поэтому полюбил. Не только потому, что тот ему чай и

хлеб давал и уши перевязывал,— он был лицом похож на его сына.

Сильвано встал, разлил остатки водки, старательно, капля за каплей, потом попросил у хозяина лист бумаги, аккуратно завернул бутылку и запрятал ее в карман.

— Тебя помнить... Цветы туда,— он поднял свой стакан,— Россия помнить!

Я никогда не забуду этих слов, сказанных Сильвано Инкорпоре, венецианским гондольером, пятнадцать лет тому назад подвозившим на своей кляче снаряды, один из которых, возможно, когда-нибудь пролетел и над моей головой, а может быть, разорвался где-то совсем рядом и убил моего друга.

«Россия помнить! Тебя помнить! Цветы туда...»

Повествование мое подходит к концу. А о многом еще не рассказано. Говоря о Капри, я забыл упомянуть о нашем визите к старому писателю Эдвину Чекио, у которого мы просидели не меньше часа, и пили кофе, и рассматривали книги, и слушали его воспоминания о Горьком, а потом сломя голову мчались по запутанным каприйским улочкам, сбивая прохожих, боясь опоздать на последний отходящий катер. Не рассказал я и о поездке в Джендзано, где на

улице встретился нам мэр города, который с увлечением стал показывать «свои» владения, а потом завел в какое-то глубокое винное подземелье и заставил пробовать вино из каждой бочки. Не рассказал и сотой доли того, что хотелось бы рассказать о произведениях итальянского искусства. О том, например, как стояли мы перед леонардовской «Тайной вечерей» и я впервые подумал, что бог, вероятно, все-таки существует где-то там, высоко, за облаками: американская бомба прямым попаданием угодила в трапезную, где находится это величайшее произведение искусства, разрушила все стены, а самой фрески даже не поцарапала.

Но разве обо всем расскажешь?

И все же я не могу не сказать хотя бы несколько слов о тех, кто так внимательно и дружелюбно встречал нас, кто сопровождал в поездках по стране, показывал города и музеи, кто заботился о том, чтобы нам везде было удобно и весело, знакомил со страной, ее людьми и нравами, водил по тратториям, кормил макаронами с сыром и сногсшибательными «бистекке дьяболике», поил вином...

Поил вином... О итальянское вино!

Просмотрев написанное, я с ужасом обнаружил, что ни одна из описанных встреч не обошлась без него. Что поделаешь, такова уж судьба членов любой делегации, особенно в этой стране, которая стоит на втором месте после Испании по потреблению алкоголя, если ве-

рить данным Интернационального бюро по борьбе с алкоголизмом, опубликованным в «Статистическом ежегоднике» за 1936 год.

В Италии нас поили и кормили как на убой (на обилие угощений, кстати, жалуются и итальянцы, побывавшие у нас в Союзе). Блюда — одно вкуснее и аппетитнее другого. И все так красиво, с таким изяществом приготовлено. Подвозят к тебе столик на колесах, а на нем громадные, шевелящие клешнями омары или трепещущая еще рыба... Вот эту, пожалуйста! И через минуту рыба уже перед тобой. А за рыбой — мясо, за ним еще что-то, и еще, и фрукты, и сыр, а до этого был еще суп и ко всему вино...

И так по три раза в день. И каждый день. И в каждом городе. Я до сих пор холодею при воспоминании о тех минутах, когда наши друзья, взглянув на часы и весело улыбнувшись, говорили: «Ну, а теперь делу конец, пора обедать. Куда пойдем?»

Равенна. Чудесный город, византийское искусство, мавзолей Теодориха и Галлы Плацидии, церкви Сант-Аполинаре ин Классе и Сан-Витале, всемирно известные мозаики и саркофаги, кружевная резьба капителей, могила Данте... Все это я видел, но, когда сейчас при мне произносят слово Равенна, я в первую очередь вспоминаю лукулловские обеды и смеющиеся лица равеннцев, или, как они по-итальянски себя называют, равеннатов.

— Есть никогда не вредно,— хохотали они, наливая бог уж знает который стакан вина.— И пить тоже.

Посмотрите на нас, какие мы толстые и веселые. Ну, давайте, давайте...

Но я уже ничего не мог — ни давать, ни принимать.

Увы, далеко не каждому итальянцу подвозят на столике трепещущую рыбу и далеко не все так уж толсты и веселы, но когда я сидел за столом в Порто-Корсини, где равеннцы особенно постарались не ударить лицом в грязь, мне пришло в голову, что в той надписи на главном здании Всемирной выставки в Риме о народе поэтов, святых, ученых, и так далее явно не хватало каких-то слов о кулинарии.

Но довольно об этом. Вернемся к хозяевам.

Их было много, очень много. И в Риме, и в Турине, и в Милане, и в Венеции, и в Равенне, и во Флоренции. С одними мы проводили много времени, с другими — поменьше. С одними ездили по стране и разговаривали о разных разностях, с другими больше сидели за столами и произносили тосты.

Мне очень жаль, что с Чезаре Дзаваттини, большим художником, одним из вдохновителей, создателей и теоретиков итальянского неореализма, с которым мы сидели совсем рядышком на прощальном вечере, мы обменялись только тостами и несколькими словами через чье-то плечо. То же произошло и с Альберто Моравиа, и с Пратолини, и с Эдуардо де Филиппо. Меньше, чем того хотелось бы, виделся я и с Карло Леви. Мне удалось, правда, побывать в его мастерской, посмотреть его работы, но и это было в какой-

то спешке, нужно было торопиться на поезд в Неаполь. Не состоялась и автомобильная поездка по Сицилии с Данило Дольчи и Пирелли, а как бы это было интересно! Не удалось повидаться и с Джанни Родари. Время, время! Никогда его не хватало.

Прощаясь, Карло Леви все качал головой.

— Напрасно, напрасно вы уезжаете. Остались бы еще на месяц-полтора. Я позвоню в министерство иностранных дел — вам сразу же продлят визы. Поживите, приглядитесь. Ведь вы фактически ничего не видели. Носились по стране как угорелые. А я вас устрою где-нибудь на частной квартире. Хотите — в городе, хотите — в деревне. Ведь вы деревни-то и не видали. А итальянскую деревню надо знать, обязательно надо. Ну? Звонить в министерство?

Как дьявол-искуситель, стоял он передо мной, невысокий, полный, улыбающийся, и рисовал картины, одну соблазнительнее другой. Маленькая деревушка где-нибудь в Кампании. Козы, виноградники, обед в тени олив, стаканчик холодного вина из погреба. Или Сицилия — страна серных рудников, полуфеодальных латифундий, разбойников и таинственной Маффии. Или небольшой городок, вроде тех, которые мы видели, пересекая Апеннины по дороге из Флоренции в Рим, где тихо, спокойно, только колокольный с утра до вечера звон. Или, наоборот, Турин, Милан, Генуя — большие промышленные города, заводы, фабрики...





Я только слушал и качал головой: дела, дела, что поделаешь, домой надо...

И все же, как ни мало я пробыл в Италии, а увидать кое-что удалось. И все это благодаря нашим друзьям, нашим хозяевам.

Пьетро Цветеремич, высокий, чуть сутулый, всегда усыпанный пеплом от не покидающей рот сигареты, неунывающий и мило рассеянный, сопровождал нас по Турину и Милану. Он один из редакторов журнала «Реальта Совьетика», кроме того, занимается переводами, в частности перевел и мою книгу на итальянский язык. С ним весело и просто. К тому же он неутомим. На крышу Миланского собора — пожалуйста, на ярмарку — с удовольствием, поехать куда-нибудь в машине — сам поведет. Только через каждые полчаса надо обязательно выпить чашечку кофе «эспрессо» — без этого он не может.

Когда мы расставались с ним в Милане — он срочно должен был выехать в Болонью, где печатается его журнал,— я даже взгрустнул. Но на смену ему приехал Умберто Черрони, так же как и Цветеремич, активный член общества «Италия — СССР», юрист, преподаватель Римского университета — маленький, живой, в неизменном черном берете. С ним мы ездили в Венецию, Равенну, Флоренцию. По-русски говорит он не слишком бойко и почему-то заливается хохотом, когда слышит русское слово «похороны» («ну, до чего

же смешное слово!»), но это нисколько не мешало нам подружиться.

Подружились мы и с Орацио Барбьери, генеральным секретарем общества «Италия — СССР», депутатом парламента от компартии, писателем, участником Сопротивления, щуплым, подвижным флорентийцем, в квартире которого на самом почетном месте висит русская балалайка, и с видным критиком Карло Салинари, одним из редакторов журнала «Контемпоранео», и с молодым симпатичным Антонио Лавакки из Флоренции, и с миланцем Криппа, который так мучился, когда не мог достать нам черных костюмов для посещения Ла Скала, и с веселыми, приветливыми римлянками Лизой Фоа и Ледой Предиери.

Никогда не забуду день нашего отъезда из Рима в Турин. Утром мы ездили в Джендзано, потом мотались по городу и в гостиницу свою прибыли за полчаса до отправки на вокзал. Поднялась обычная предотъездная суета. Лиза лихорадочно пришивает пуговицу. Леда гладит на столе рубаху. Везде раскрытые чемоданы, разбросанные по кровати брюки, что-то укладывается, что-то, самое важное, не могут найти, поминутно звонит телефон.

И во всем этом, во всей этой веселой, бестолковой суете, было так много чего-то родного, близкого, русского, что на какую-то долю секунды мне показалось, что мы сейчас едем не в Турин читать лекции о путях развития советской литературы, а просто куда-то в

Славянск или Краматорск на очередную студенческую практику...

Простота, естественность, веселость, умение сразу стать человеком, которого, кажется, ты уже давно знаешь,— вот отличительная черта итальянца, будь он с севера или юга, писатель или чернорабочий, старик или совсем молодой парень.

Я знаю, итальянцы со мной не согласятся, начнут говорить что-то о ломбардцах и сицилийцах, которые ни в чем, мол, не схожи друг с другом. Может, это и так, не спорю, но я говорю сейчас о своем впечатлении, а у меня оно именно такое.

Есть, правда, и исключения, без этого не бывает. Итало Кальвино, например, или Витторио Страда.

Итало Кальвино — молодой, но уже достаточно известный в Италии, да и за ее пределами, писатель. Познакомились мы с ним в Турине. Он председательствовал на нашем вечере. Очень бледный, худой, интеллигентный, немного грустный и иронический, он сидел рядом со мной в ресторане, и мне как-то особенно обидно было, что я не умею говорить по-итальянски, что не читал его книг и что через какой-нибудь час мы расстанемся, так ни о чем толком и не поговорив. А он один из талантливейших, интереснейших писателей современной Италии. У нас были напечатаны две-три его новеллы. Неужели же для того, чтобы с ним по-настоящему познакомиться, надо специально изучать итальянский язык? Неужели нельзя прочесть его книг по-русски?

Кстати, именно поэтому — потому, что мы мало еще знакомы с современной итальянской литературой,— я не позволил себе коснуться в этом очерке сложного пути ее развития за последние годы.

С Витторио Страда я познакомился заочно. Он перевел мою книгу для издательства Эйнауди, и на этой почве у нас завязалась переписка. Меня всегда поражали его письма. Поражали не только хорошим русским языком, но и прекрасным знанием русской литературы, особенно XIX века. Он литературовед и критик, статьи его часто появляются в римском «Контемпоранео».

Встретились мы с ним в Милане. Подошел ко мне высокий, сутуловатый, коротко остриженный человек в очках — это было, кажется, в помещении общества «Италия — СССР» — и отрекомендовался. Я обрушился на него с объятиями и какой-то тирадой. Он несколько испуганно посмотрел на меня и не без труда проговорил: «Медленно, медленно...» Выяснилось, что он, человек книжный, словарный, почти совсем не понимает живой русской речи. Он много, очень много читал (я это понял, когда попал к нему на квартиру и увидел сотни русских книг и журналов, расставленных на полках), но никогда не разговаривал по-русски.

Сейчас Страда живет в Москве, он аспирант Московского университета, и не только прекрасно понимает, что ему говорят, но и сам очень недурно говорит. Жалуется только, что в Москве слишком много

итальянцев, с которыми приходится часто встречаться, а он хочет говорить по-русски.

Витторио совсем не похож на итальянца, во всяком случае на итальянца из фильмов де Филиппо. Он спокоен, сдержан, немногоречив, обстоятелен, вдумчив. Он любит рыться в книгах, часами сидеть в библиотеках. Книги для него — все. Когда он впервые попал в СССР, на фестиваль, он первым же делом отправился к букинисту и на все скопленные деньги купил «Литературную энциклопедию». А потом не хватало денег на трамвай. Книги — его страсть. Он страстный человек. И в этом он итальянец.

Все, о ком я сейчас пишу,— наши друзья. Все они члены общества «Италия — СССР», в их симпатиях к нашей стране ничего удивительного нет. Но, оказывается, не только члены общества, не только коммунисты тянутся к нам.

Как раз когда я был в Италии, в одной из римских больниц умирал Курцио Малапарте — крупный итальянский писатель, публицист, журналист. Путь Малапарте не прост и, может быть, даже не совсем понятен. При фашистском режиме он много писал. Его знал и почитал Муссолини. Во время войны Малапарте (настоящая его фамилия Зуккерт, он немец по происхождению, но итальянец по языку и культуре) был корреспондентом фашистской газеты на русском фронте. Впрочем, статьи его не пришлись по вкусу Муссолини, и Малапарте вынужден был покинуть Россию. Но, так или иначе, обвинить его в особой симпа-

тии к ней и к строю ее довольно трудно. Не знаю, что послужило толчком или поводом, но в последние годы в писателе произошел какой-то перелом. Будучи уже стариком, к тому же очень больным, он поехал в Китай. Это было в 1956 году. В Китае болезнь его обострилась, и он должен был спешно, в сопровождении врачей, самолетом вернуться в Италию. По дороге в Китай и на обратном пути, совсем уже больным, он на несколько дней задержался в Москве.

Сейчас он лежал в одной из лучших римских больниц. Он умирал.

Мне сказали, что визит к нему может его обрадовать, и, хотя все это не совсем мне было понятно, мы отправились к нему в больницу.

Он лежал в отдельной просторной, светлой палате, почти недвижимый, бледный, худой, подтянув к самому подбородку одеяло. Сестра, впустившая нас, сказала, что для нас сделано исключение, и просила дольше пяти минут у больного не сидеть, он очень слаб.

Да, он был слаб, очень слаб. Ему трудно было говорить. Но ему хотелось говорить. И он говорил. Говорил с жаром, горячностью, с трудом переводя дыхание, часто прерываясь.

— Ведь вы не читали моих книг. Наверное даже не читали... А может быть, это даже и хорошо, что не читали... Тогда послушайте... Вы человек молодой и писатель молодой, а я старый, очень старый. Я многое видел. И многих видел. Разных людей, очень разных.

Всех национальностей, всех рангов, всех положений... Сейчас я был в Китае. Я не буду о нем рассказывать. Я напишу книгу. Обязательно напишу! Я видел Мао Цзэ-дуна. Я хочу добиться того, чтобы Народный Китай был признан.— Тут он мучительно улыбнулся.— Я знаю, что вы думаете: он умирает, ему жить всего неделю, а он хочет книги писать... А вот хочу. И напишу. И не умру... И не одну, а две. О Китае и о вас... Я был в Союзе дважды — во время войны и вот сейчас, всего несколько дней. И я хочу — я не имею права о вас не написать. Вы понимаете, не имею права... Потому что у вас, ну как бы об этом сказать, у вас другие люди. И у вас и в Китае. Не такие, как мы. Таких я еще не видал. Теперь я их увидел. Я их еще не знаю, я их только видел, но не узнать их нельзя... Поэтому я и не имею права умирать... Ведь правда, не имею?

Глаза его блестели, он покрылся испариной, он задыхался, но говорил, говорил, говорил. Мне даже стало страшно при виде этой энергии, этой страсти, этой жажды жизни, которой через несколько недель суждено было оборваться.

Малапарте умер. Последние дни в маленькой приемной у его палаты бессменно дежурили сановнейшие духовники Ватикана — он был протестантом, а они хотели, чтобы он умер католиком. Но он умер не католиком и не протестантом, он умер коммунистом — за несколько дней до смерти он вступил в компартию.

Километрах в пятнадцати от Равенны, на берегу лагуны, есть местечко Сан-Альберто. Попали мы туда вечером: рано утром мы выехали из Венеции, в девять были в Ферраре, а еще через час — в Равенне. Как нас встречали в Равенне, я уже говорил, поэтому объяснять, почему мы попали в Сан-Альберто, вряд ли стоит. Просто равеннцам по каким-то только им известным причинам показалось, что кормить нас ужином надо именно в Сан-Альберто.

Покормили, потом вышли на улицу. И тут кто-то сказал: «А не зайти ли нам в Народный дом?» Зашли, а там как раз собрание пенсионеров.

Сидели пенсионеры в довольно большом, заставленном скамейками зале. Сцена с провисающей проволокой от занавеса. Справа и слева по нескольку ступенек. На сцене стол. На столе графин и стакан. За столом человек пять — президиум. Все как-то очень напоминало наши колхозные собрания. И люди вроде похожи — простые лица, тяжелые руки, на женщинах платки.

Как и всегда, я мало что понимал из того, что говорилось. По очереди кто-то подымался на сцену и начинал говорить, и его перебивали из зала, и председатель стучал стаканом о графин, и в зале было накурено, и кто-то против этого протестовал, а курение все продолжалось — одним словом, все было совсем так, как и у нас на многих собраниях.

К концу его, когда кое-кто уже стал выходить, как-то совсем неожиданно для нас выяснилось, что

надо выступить. Просто так, сказать несколько слов старикам пенсионерам.

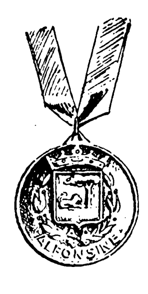
Было поздно, мы дико устали, и вообще от одного слова «выступление» меня уже начинало бросать в дрожь. Но что поделаешь — надо.

Я вышел на сцену. После бесчисленных сегодняшних встреч, обедов и тостов мой словесный запас настолько истощился, что я решил ограничиться обычным приветствием, начинающимся со стандартного «разрешите...» Но уже на четвертой или пятой фразе я заметил, что зал постепенно начал наполняться. И не только стариками. Появились люди и помоложе, в основном крестьяне, рыбаки, появилась и совсем юная молодежь — парни и девушки.

Я смотрел на лица сидевших передо мной людей, обветренные, морщинистые, не по-итальянскому суровые, очень внимательные и сосредоточенные, и вдруг почувствовал, что у меня нашлись слова.

Во втором ряду передо мной сидел худой горбоносый крестьянин лет сорока, в сдвинутом на ухо берете, с незажженной сигаретой во рту. Слегка наклонившись вперед, сдвинув брови, он внимательно слушал. Лицо его казалось мне знакомым. Но нет, я его нигде не видел. Просто оно было похоже на лица тех партизан — такие же горбоносые и в таких же беретах,— фотографию которых мне показывали сегодня в Альфонсино, небольшом городке километрах в десяти западнее Сан-Альберто.

В годы войны область Эмилия прославилась своими



партизанами. Альфонсино был центром этого движения. Здесь шли упорные бои. Ровно двенадцать лет тому назад, 10 апреля 1945 года, город был освобожден от немцев. Освобожден партизанами. Обо всем этом нам рассказали сегодня утром, когда мы проезжали через Альфонсино по пути из Феррары в Равенну.

Мы недолго там пробыли. Нас провели на кладбище, где находится монумент погибшим в боях альфонсинским патриотам, а на прощание вручили несколько партизанских медалей с просьбой передать их кому-нибудь из наиболее отличившихся советских партизан, что мы по приезде домой, конечно, и сделали.

Сейчас же я смотрел на сидевшего передо мной горбоносого крестьянина, на его соседа, седого бородатого старика, с лица которого, по-видимому, никогда уже не сходит загар, так прочно он к нему пристал, на другого, с костылями, зажатыми меж колен, на десятки молодых и старых лиц, мужских и женских, в большинстве своем серьезных и даже немного напряженных. Смотрел на них и понимал, что передо мной сидят не просто пенсионеры, собравшиеся для того, чтобы отстоять какие-то свои, неизвестные мне, права, а сидят люди, многие из которых двенадцать лет тому назад сжимали в своих руках автоматы. И именно поэтому так внимательно слушали они перевод слов о том, как воевали наши солдаты в Сталинграде. И хотя,

возможно, среди присутствовавших находились отцы, матери и жены тех, кто погиб под Сталинградом, мне было ясно, что город этот стал символом победы не только для нас.

Я это с особой силой понял, когда вспыхнули вдруг аплодисменты, когда я пожимал твердые, огрубевшие ладони, когда слушал сбивчивые, горячие слова немолодого, с засунутым в карман пиджака рукавом крестьянина, который говорил о русских военнопленных, сражавшихся плечом к плечу с партизанами бригад Гарибальди — «Марио Джордини», «Романья», «Аурелио Тарони» и многих, многих других.

А на следующий день в старинной базилике Сант-Аполинаре ин Классе среди гранитных и мраморных надгробий я увидел высеченную на камне надпись: «Wladimir Peniakov (1896—1944)».

Откуда он, кто он, этот Владимир Пеняков, я не знаю. Знаю только, что он русский, сражался на итальянской земле за то же, за что мы сражались на своей. Его похоронили далеко от его дома, в базилике Сант-Аполинаре, возле Равенны.

И, стоя над его могилой, я невольно вспомнил слова безрукого крестьянина из Сан-Альберто: «Нас и сыновей наших гнали в Россию убивать русских, а русские защищали нас. И в Сталинграде и здесь, в Эмилии».



Двадцать седьмого апреля истек срок моей визы. В этот

день, до полудня, как написано было римской квестурой в моем паспорте, я должен был пересечь государственную границу. Я пересек ее около девяти часов утра где-то между Аостой и Моданой, в районе Альп.

На следующий день в 16.45 я был уже в Москве.

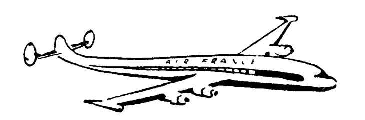
С того дня произошло много событий — и у нас, и в Италии, и во Франции, и вообще во всем мире. Я не буду о них говорить, они всем известны. Они на многое влияют — и на то, что ты можешь сегодня купить, и о чем будешь думать и говорить, и насколько спокойно будешь спать. Но сейчас, когда я вспоминаю те три недели, что я провел в Италии, когда вспоминаю людей, с которыми встречался, будь то во дворце партии Гвельфов, под сенью старинных цеховых знамен, или в дешевой остерии, насквозь пропитанной запахом оливкового масла, или в уставленной книгами квартире писателя, или в накуренном зале Народного дома, или просто на улице, какой-нибудь Виа дель Корно, я вижу лица этих людей, вижу их глаза — весело улыбающиеся или сосредоточенно что-то соображающие, слышу их голоса, и мне трудно поверить, что есть на свете такая сила, которая могла бы поссорить людей, хотящих дружить.

Нет такой силы! Даже Гитлер и Муссолини не могли этого сделать, а они были мастерами своего дела.

Когда на римском аэродроме я прощался с провожающими, меня спросили, не забыл ли я бросить монету в фонтан Треви,— верный способ еще раз побывать в Италии. Я этого не сделал. Тогда, осуждающе покачав головами, мне дали монету в пятьдесят лир.

— Ухитритесь как-нибудь из самолета ее выбросить, иначе...

И я ухитрился. Монета упала где-то в районе Чивитавеккиа, на северо-запад от Рима. Авось ветер не отнес ее в море, и мне суждено еще побывать в Италии и увидеть и узнать то, крохотную долю чего я увидел и узнал в дни первого знакомства в апреле 1957 года.



Некрасов Виктор Платонович

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

* * *

Редактор *В. М. Вилкова*
Худож. редактор *В. И. Морозов*
Техн. редактор *Н. Д. Бессонова*

Корректоры
Л. А. Матасова и *И. В. Симакова*

Сдано в набор 23/VII 1959 г. Подписано к печати 9/XII 1959 г. А10450. Формат бумаги $70 \times 108^1/_{32}$. $7^1/_2$ печ. л. (10,27) = уч.-изд. л. 8,94.
Тираж 30 000 экз. Заказ № 677.
Цена 4 р.

Издательство «Советский писатель».
Москва, К-9, Б. Гнездниковский пер., 10

Типография «Красный пролетарий»
Госполитиздата
Министерства культуры СССР.
Москва, Краснопролетарская, 16

